

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  
ИНСТИТУТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ (МОСКВА)

ЛАБОРАТОРИЯ  
«ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»  
ИНСТИТУТА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН

СЕРИЯ  
ОБРАЗЫ ИСТОРИИ



А К В И Л О Н

**«FIRSTHAND...»**  
**HISTORIANS ABOUT THEMSELVES AND HISTORICAL**  
**KNOWLEDGE IN THE RAPIDLY CHANGING WORLD**

Compiled and edited by Lorina Repina



А К В И Л О Н

**«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ...»**  
**ИСТОРИКИ О СЕБЕ И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ**  
**В ЭТОМ БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМся МИРЕ**

Составление и общая редакция Л.П. Репиной



А К В И Л О Н

ББК 63.3  
УДК 93 / 94  
И 32

«Из первых уст...»: Историки о себе и исторической науке в этом быстро меняющемся мире / Составление и общая редакция Л.П. Репиной. — М.: Аквилон, 2020. — 208 с.

Предлагаемая читателю книга представляет собой собрание интервью известных историков конца XX – начала XXI века. Их большая часть была опубликована в журнале «Диалог со временем» в разное время, ряд других – впервые вводятся в научный оборот. Всего представлены 27 интервью историков, принадлежащих разным поколениям, национальным историческим школам, университетским корпорациям. Отвечая на схожие вопросы, они рассказывают о мотивах и обстоятельствах своего выбора профессии, о своих учителях и научных школах, о перипетиях исследовательской и университетской карьеры, о коллегах, с которыми взаимодействовали и влияние которых испытывали на своем профессиональном пути. Другая группа вопросов затрагивает актуальные темы развития современной историографии, с обсуждением ее общественного статуса, наиболее перспективных тенденций, особенностей национальных исторических традиций и мн. др.

“Firsthand...”: Historians about themselves and historical knowledge in the rapidly changing world. Compiled and edited by Lorina Repina. — Moscow: Aquilo, 2020. — 208 p.

The book offered to the reader is a collection of interviews with famous historians of the late XX – early XXI century. Most of them were published in the journal "Dialog so Vremenem" at different times, a number of others are being introduced into scientific circulation for the first time. In total, twenty seven interviews with historians belonging to different generations, national historical schools, university corporations are presented. Answering similar questions, they talk about the motives and circumstances of their choice of a profession, about their teachers and schools, the vicissitudes of research and university careers, about colleagues with whom they interacted and whose influence they experienced on their professional path. Another group of questions touches on topical issues of the development and new directions of current historiography, with a discussion of its social status, the most promising trends, the characteristics of national historical traditions, and many others.

© Л.П. Репина, общая редакция, составление, 2020  
© Редакция журнала «Диалог со временем», 2020  
© Институт всеобщей истории РАН, 2020  
© Издательство «Аквилон», 2020

ISBN 978–5–906578–68–6

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без письменного соглашения с издателем запрещается.*

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

### Размышляя о многогранности человеческого опыта

Предлагаемая читателю книга представляет собой антологию – собрание интервью известных историков конца прошлого и начала нынешнего столетия. Большая часть этих интервью была опубликована в журнале «Диалог со временем» в разное время, начиная с 2005 года, ряд других – впервые вводятся в научный оборот, или же ранее публиковались только в сокращенной версии. Идея объединить данные тексты в одной книге возникла в связи с попыткой осмыслить развитие тех важных тенденций, наметившихся в профессиональной историографии рубежа веков, которые были в свое время обозначены как антропологический поворот в истории науки, а в более ограниченном дисциплинарном контексте – как «история истории (или историографии) в человеческом измерении»<sup>1</sup>.

За прошедшие годы историческая наука пережила еще ряд «поворотов», обогатившись новыми подходами и направлениями исследований, и эти сложные процессы привели к качественным изменениям в предметном поле и проблематике исследования, в структуре исторического знания, а в целом и по сути – к формированию новой исторической культуры и нового образа исторической науки. В этом контексте был также проблематизирован и переосмыслен значительный круг специальных вопросов, связанных с изменениями в практиках историописания и профессиональном самосознании историков.

Отвечая вызовам и потребностям современного общества, история неизбежно вовлекается в процесс непрерывной смены ракурсов и методов изучения, ключевых понятий и оценочных критериев. В соответствии с этим заново переопределяется и приобретает новый облик современное историко-историографическое исследование. Актуализируется проблема формирования и развития научных сообществ, которая рассматривается, как правило, в институциональной, дисциплинарной и национальной перспективах. В основе профессиональной исторической культуры обнаруживается особый тип коллективной памяти, с характерными ценностями (прежде всего требованием

---

<sup>1</sup> Подробно об этом см.: Репина Л.П. Историческая наука в предметном поле интеллектуальной истории // История и историки в прошлом и настоящем / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 5-22.

достоверности) и средствами коммуникации внутри своего сообщества и с обществом в целом. Важное место в обновленной истории историографии занимает понятие исторического опыта, а также интенсивный микроанализ, будь то анализ конкретного текста или ситуации, биографии отдельной творческой личности или межличностных отношений в интеллектуальной среде.

Во всяком обществе и при любом политическом устройстве существует глубокая, тесная и неискоренимая зависимость историков от современной эпохи. Однако историк погружен не только в современную общекультурную среду, но и в более узкую профессиональную культуру, которая имеет собственные традиции. Те вопросы, которые каждое поколение историков ставит перед прошлым, неизбежно отражают интересы, проблемы и тревоги этого поколения, но не менее важным условием творчества оказывается приверженность профессиональным стандартам и нормам исторической науки<sup>2</sup>. Главный вопрос заключается в том, что именно находится в фокусе исторического исследования. В современной историографии – это человек, и все более – человек крупным планом, человеческая индивидуальность во всей ее сложности и неповторимости. И здесь не уйти от осознания «двойной ответственности историка» и от других этических проблем, обсуждение которых не случайно так активизировалось в 2000-е годы<sup>3</sup>.

Бурное развитие обновленного биографического подхода в интеллектуальной истории ярко проявляется в новейшей истории историографии как ее неотъемлемой составляющей. И, разумеется, особое внимание уделяется анализу персональных текстов или источников личного происхождения, в которых оказывается запечатленным индивидуальный опыт, его переживание и осмысление. Такие «ненадежные», «субъективные» источники, как дневники, письма, мемуары, вышли на первый план не вопреки, а именно благодаря своей субъективности. Однако ценность каждого такого свидетельства не отменяет его фрагментарности и «сюжетной» ограниченности.

В этой связи огромный интерес представляет жанр полноценных интеллектуальных автобиографий, к которому, отнюдь не случайно, в напряженной атмосфере *fin de siècle* обратился ряд выдающихся историков второй половины XIX столетия. Наиболее весомым вкладом в его разработку стали автобиографические эссе крупнейших французских историков, представленные составителем сборника Пье-

---

<sup>2</sup> Обстоятельный анализ профессиональных требований разного уровня, причем в их динамическом развитии, представлен в книге: Торстендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание. М., 2014.

<sup>3</sup> См. об этом, например, ниже, в интервью с Хейденом Уайтом. С. 48.

ром Нора как «Очерки по эго-истории»<sup>4</sup>. Мною этот оригинальный жанр историописания был условно обозначен как автобиоисториографический<sup>5</sup>. Профессионально вписывая свою историю жизни (как «в миру», так и в науке) в динамичный, полный драматических событий социально-исторический контекст, ведущие современные историки создают бесценный материал для изучения истории историографии своей эпохи. Не менее ценными и значимыми оказываются для историографических исследований интенсивно публикуемые в современной научной периодике многочисленные и весьма информативные интервью мэтров исторической науки разных стран.

В нашей антологии представлены двадцать семь интервью историков, принадлежащих разным поколениям, национальным историческим школам, университетским корпорациям. Отвечая на схожие вопросы интервьюеров, они рассказывают, в частности, о мотивах и обстоятельствах своего выбора профессии, о своих учителях и научных школах<sup>6</sup>, о перипетиях своей исследовательской и университетской карьеры, о коллегах, с которыми взаимодействовали и влияние которых испытывали на своем профессиональном пути. Другая группа вопросов затрагивает актуальные темы развития современной историографии (практически во всех аспектах), с обсуждением ее общественного статуса, наиболее значимых и перспективных тенденций, особенностей национальных историографических традиций, последствий эпистемологических и методологических новаций и мн. др. Кажется, что, соединяя некоторые фрагменты публикуемых интервью, в которых были затронуты профессионально близкие респондентам темы, можно было бы воспроизвести, пусть и воображаемую, но, бесспорно, высоко компетентную и многостороннюю дискуссию по ключевым вопросам исторического познания.

---

<sup>4</sup> Essais d'ego-histoire (Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, René Rémond) / Ré-unis et présentés par Pierre Nora. Paris, 1987.

<sup>5</sup> См.: Репина Л.П. Историк в двадцатом веке: вместо введения // Диалог со временем: историки в меняющемся мире. М., 1996. С. 3–9.

<sup>6</sup> Эта важная для каждого ученого тема – ключевой момент самоидентификации, так как, помимо прочего выполняет так называемую «функцию взаимопризнания», когда: «...каждый признает в качестве ученых нескольких других людей, которыми он в свою очередь признается ученым, и из этих отношений слагаются связи, транслирующие (уже из вторых рук) это взаимопризнание по всему сообществу. Так каждый его член оказывается прямо или косвенно признанным всеми. Эта система простирается и в прошлое. Ее члены признают одних и тех же лиц в качестве своих учителей, на верности им основывают общую традицию и каждый развивает в ее пределах свою собственную линию...». – Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 234-235.

Не только проблемы профессиональной культуры историков, но также исторического опыта и исторической культуры общества, занимают центральное место в размышлениях наших собеседников. Это совершенно естественно, поскольку историческая культура «является частью повседневной жизни всех людей во всем мире и играет огромную и важную роль»<sup>7</sup>, прежде всего в формировании самосознания как индивида, так и социума. И историография, выполняя свою социальную функцию выступает как «форма преобразования коллективной памяти, а та является памятью культуры, без которой была бы невозможна как социализация личностей, так и сохранение устойчивости социальных институций и форм коллективной жизни»<sup>8</sup>.

Траектория развития современной исторической науки показала всю контрпродуктивность отчуждения «практикующих» историков от теоретических построений и обобщений. Рост интереса к теории исторического познания – закономерное явление в развитии исторической науки в переломный период. Трудности познавательной переориентации и соответствующей перестройки профессиональных конвенций, необходимость теоретического осмысления собственной историографической практики осознаются ведущими историками, придерживающимися разных методологических парадигм. Причем особенно остро необходимость такой перестройки ощущается в педагогической практике (в том числе в профессиональном образовании) и отражается в горячо обсуждаемых новых веяниях исторической дидактики, в которой наряду с такими базовыми критериями, как рациональность и строгая научность, «сегодня подчеркивается важность эмоций и воображения, которые должны дополнять историческое мышление»<sup>9</sup>.

Чрезвычайно многогранна и разнообразна проблематика историографии второй половины XX – начала XXI века, раскрываемая в интервью и отражающая действительное состояние дел, которое, тем не менее, сумел лаконично и точно охарактеризовать М. Эмар в одной фразе: «Расширяются горизонты познания истории...»<sup>10</sup>.

*Л.П. Ретина*

---

<sup>7</sup> См., в частности, ниже, в интервью с Йорном Рюзоном. С. 79.

<sup>8</sup> См. ниже: Интервью с профессором В. Вжосеком. С. 124.

<sup>9</sup> См.: Интервью с профессором Й. Рольфесом. С. 39.

<sup>10</sup> Французские историки о своем профессиональном становлении и пути в науке. (Морис Эймар). С. 136.

## Часть I

### ИНТЕРВЬЮ С РАЙНХАРТОМ КОЗЕЛЛЕКОМ<sup>1</sup>



**23.04.1923 – 03.02.2006**

Райнхарт Козеллек родился в 1923 г. в Герлице, где была сильной евангелическая культурная традиция. Там он начал обучение в гимназии, а получил аттестат зрелости в Саарбрюкене в 1941 г. После этого добровольцем ушел в вермахт, и служил главным образом в оккупированной Франции и на восточном фронте. Драматический опыт войны повлиял на формирование историка. Оказавшись в 1945 г. в советском плену, он вернулся на родину через год с обозом военнопленных. Став студентом в двадцать четыре года, он был одним из тех, для кого дебаты вокруг категории «вины» Карла Ясперса были далеко не абстрактными. В Гейдельбергском университете Козеллек изучал

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в журнале «Диалог со временем» (2005, вып. 15). Беседу вел Андрей Борисович Соколов, доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

широкий спектр гуманитарных и социальных наук, включая историю, философию, право, социологию и историю искусства. На формирование его идей оказали влияние такие видные историки, как Й. Кун и В. Конце, историки культуры А. Вебер и Х.-Г. Гадамер, философ К. Левит. К. Шмитт указывал на влияние на политику правовых понятий, на то, что необходимо выяснить, что означало каждое понятие в определенное время, где, когда и для кого. В 1954 г. под руководством Й. Куна Козеллеком была защищена диссертация «Критика и кризис. Вклад в патогенез буржуазного мира» (*Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt*). Она была издана как монография и переведена на многие языки. Большое значение для работы Козеллека по проблеме исторической семантики имело его пребывание в университете Бристоля, а затем работа в Гейдельберге в качестве ассистента сначала у Куна, а затем у В. Конце. В 1967 г. появилась новая важная работа Козеллека, защищенная им в качестве второй диссертации «Пруссия между реформой и революцией. Земельное право, административное управление и социальное движение» (*Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848*). Ее особенностью было стремление связать политическую историю Пруссии с социальным развитием в условиях промышленного переворота, социальную мобильность и устремления различных общественных групп – с господствующими правовыми и административными концепциями. В ней нашли воплощение идеи, разработанные ранее в области исторической семантики.

Работа в этом направлении была продолжена в последующие годы, и одним из главных результатов было издание в 1972–1985 гг. семитомной энциклопедии по историческим понятиям под редакцией Р. Козеллека совместно с В. Конце и О. Бруннером. В ней проанализировано около трехсот понятий, от времени их возникновения до наших дней. Идея немецких историков в том, что ни одно из них не несет «абсолютного» смысла, каждое из них выражается в определенном историческом и социальном контексте. Тем самым исследователи стремились отойти от традиционной истории идей и раскрыть социальную и политическую функцию терминов, сферу их применения. В числе исследуемых понятий – такие, как демократия, эмансипация, прогресс, революция, кризис, суверенность, народ и др. В концепции Р. Козеллека важное значение приобретает категория переломного времени, как он его называет, «времени седловины» (*Sattelzeit*), которая предполагает некий исторический период, когда формировалось данное понятие. Одной из черт переломного времени была «политизация» языка. При этом в разных странах имели место особенности.

Так, переломным для немцев был период между 1750 и 1850 гг., для французов момент революции 1789 г. Напротив, для Великобритании этот момент переместился еще дальше в прошлое.

С конца 1960-х гг. научная и организационная деятельность Козеллека была в большой мере связана с одним из новых университетов Германии – Билефельдским. Сначала он входил в состав комиссии по его созданию и внес большой вклад в разработку организационных и методологических принципов, на которых было построено это учебное заведение, а также в создание в Билефельде факультета истории. С 1973 г. он стал профессором этого университета, а вскоре – первым директором Центра междисциплинарных исследований. Деятельность на базе Центра временных научных коллективов плодотворно отразилась, в том числе в области гуманитарных исследований. Козеллек возглавлял Центр междисциплинарных исследований в течение пяти лет, и работал в Билефельдском университете вплоть до своей отставки в 1988 г. Это были годы, когда значительные позиции в немецкой историографии приобрела «билефельдская школа» социальной истории и такие ее представители, как Г.-У. Велер и Ю. Кокка. Конечно, подходы Козеллека не во всем совпадали с позициями его коллег: именно труды Козеллека указали на связь между социальными явлениями и языком, как частью культуры и ментальности.

*А. Б. Соколов*

*А. С.: Как складывался Ваш жизненный путь до того, как Вы пришли в историю, и как он повлиял на выбор профессии?*

**Р. К.:** В детстве мне пришлось сменить много школ; я учился в Герлице, Бреслау, Касселе, Дортмунде, Мюнхене и Саарбрюкене. Это связано с жизненными обстоятельствами моего отца, который был учителем, директором школы, профессором в педагогической академии. С 1931 по 1937 год он фактически был безработным, и семье пришлось сменить много мест, а я посещал много школ, следуя профессиональному пути отца. Все думают, что Мюнхен – столица движения, Гитлер, город коричневый, значит и школы должны быть коричневого цвета, но самая антинацистская из всех моих школ была в Мюнхене. Аттестат зрелости я получал в Саарбрюкене. Это не потребовало никаких усилий, потому что я уже записался добровольцем, поэтому не должен был сдавать никаких экзаменов. Аттестат в таком случае давали с любыми оценками, и это было заманчиво. Конечно, обычно замалчивается, почему шли добровольцами. Кого призывали, тот сразу попадал в пехоту, а в пехоте самый высокий уровень смертности. Мой лучший друг был католиком, и его отец был строгим католиком, он не мог идти добровольно и попал в пехоту, и был убит

сразу после того, как его призвали на фронт. Кто шел добровольцем, имел выбор: хочешь быть героем, иди в танкисты или летчики, но мой отец настоял, чтобы я шел в артиллерию – там ниже смертность; он знал это по первой мировой войне. Мой отец был старым республиканцем веймарского времени, и он всегда был против выражения Трейчке, что «великие творят историю» («grosse Maenner machen die Geschichte»), и во времена Третьего рейха он говорил, что история – нечто большее. Тогда уже вошло в привычку, что такие вещи не обсуждаются критически, и кто может судить, что у кого-то не было мужества для критики. А отец много лет был безработным.

Я только что получил письмо от друга моего брата, погибшего 15 апреля 1945 года в Кенигсберге. Этому другу сейчас около 80-ти. Он написал, как гулял с моим братом в Саарбрюкене, когда они были школьниками. Оба были вождями гитлерюгенда. Я все время ссорился с братом, может быть поэтому и не был вождем гитлерюгенда. Я помню, как брат вернулся с партийного съезда с известным изречением Гитлера «Молодежь должна быть твердой, как крупновская сталь, жесткой, как кожа, быстрой, как борзые». А мой отец добавил: «И глупой, как бобовая солома». Никогда не забуду, как он спонтанно сказал это, а брат покраснел от злости, почувствовав себя оскорбленным. И все же отца можно считать коллаборационистом; он был офицером и был убежден, что надо сделать все, чтобы выиграть войну. Он потерял работу по политическим причинам, был безработным много лет и сотрудничал с режимом, но не из-за Гитлера, а из-за патриотизма. Если хотите, это был патриотизм коричневого цвета. Очень сложно провести границы. Следующим поколениям легче судить, кто был морально неправ.

Сначала я находился в оккупированной Франции, но затем и на восточном фронте холодной зимой 1941–1942 гг. под Харьковом и Киевом. Там были тяжелые сражения. Я был в шестой армии, наступавшей на Сталинград, но не попал туда, так как получил в результате аварии физическую травму от орудия в местечке Изюм. Можно сказать, мне повезло. После этого я долго служил дома в радиолокационных войсках как специалист по радарам, но в 1945 г., когда все шло к концу, оказался в пехоте в Восточной Силезии. Половина всех жертв – это те, кто погиб после лета 1944 года, так же и у нас половина дивизии погибла в последние месяцы. Это был, так сказать, конец всему. Потом я был в плену в Освенциме. Там мы занимались тем, что демонтировали фабрики, построенные заключенными. Химическую фабрику ИГ-Фарбен мы демонтировали для доставки в Россию, работая, как египетские рабы. Сотни пленных при помощи канатов мед-

ленно опускали котлы высотой 20-30 метров, которые грузились на железную дорогу и отправлялись в Россию; там они где-нибудь заржавели. Я сам потом видел в Сибири это валявшееся оборудование – его точно не восстановили.

Потом я попал в Караганду и находился там в плену полтора года. Мне очень повезло, что я вернулся домой. Я был тяжело болен, и в Спасске встретил своего друга-одноклассника, который был фельдшером. Я был санитаром, он заметил, что у меня высокая температура, выяснился большой абсцесс около почки, а хирург, оперировавший меня, оказался ординатором моего дедушки. После операции я долго болел, вся спина была изрезана. Порядок был такой: транспортировали домой тех, кто был нетрудоспособен в течение года, но мог выдержать четырехнедельный путь. И то, и другое вместе – это почти квадратура круга. Меня устроили писарем в госпитале, а когда приходила комиссия, укладывали в постель как лежачего больного. Многие погибали. У нас погибло 60% русских пленных, в России – 40% немецких. Там многих доводили до смерти в подвалах ГПУ. У нас были случаи, когда замерзших или умиравших от голода людей возвращали в лазарет, чтобы виноваты были не они, а немецкий врач. Так я узнал, что реально значит социализм с ГПУ; в том, что делалось, было много вздора, а условия труда были невероятны. О плене я бы мог говорить часами, это был важный опыт. Я не хотел бы, чтобы у меня не было этих воспоминаний.

*А. С.:* Как происходило формирование Вашей концепции, кто оказал особое влияние на Ваши взгляды как историка?

*Р. К.:* Я бы отметил, прежде всего, Вернера Конце, крупнейшего гейдельбергского историка. Его взгляды формировались тогда, когда в историографии, казалось бы, господствовала политическая история, но именно он заложил новые подходы, связанные с социальной историей. От истории, которая воспринималась как решения политических элит, он перешел к изучению социальных структур и аграрных отношений. Кроме того, как выходец из Восточной Пруссии он понимал ментальность славянских народов, хотя и был националистически настроен. В Кенигсберге вообще были сильными позиции националистически настроенных историков, хотя именно оттуда произрастает интерес к социальной истории. Одним из его учителей был Гюнтер Ипсен, настоящий нацист, позднее я с ним познакомился, очень умный, умевший работать методически точно; он был специалистом в области семантики и социальной истории, а также статистиком и демографом. Когда он говорил о народе, то имел в виду не только идеологический аспект, а стратиграфию, расслоение народа: какая ра-

бота, какой доход, нормы воспроизводства, рождаемость, смертность, зависимость этих показателей от дохода. Он был отличным социологом и, несомненно, нацистом. Так тоже бывает: не каждый нацист был глуп, иначе непонятно, почему существовал Третий рейх. Человеком он был довольно неприятным и властным. Сам он был из Австрии, как и Гитлер, точнее, из Каринтии, где в годы первой мировой войны происходили особенно ожесточенные столкновения между немцами и словенцами. Отсюда корни его национализма. Хотя в нацистской партии в Кенигсберге подозревали, что он был подозрительным попутчиком, а не преданным нацистом. На самом деле, когда речь идет о Третьем рейхе, я придерживаюсь правила, что не все так просто: кто-то был на самом деле убежденным нацистом, а другие, которых такими считают, были настроены критически. В России, наверное, так же со сталинизмом: трудно сказать, кто был сталинистом, а кто – нет. Впрочем, об этом мне судить трудно: я мало об этом знаю.

Возвращаясь к Конце, скажу, что он, как и Ипсен, социальный историк и, хотя он занимался эпохой Французской революции, он всегда смотрел на вещи широко, читая, например, лекции до времени национал-социализма. Центральное место у него занимала концепция индустриализации. Конце тоже был офицером; он бежал тяжело раненным из русского плена. Ранения были тяжелыми: у него была не в порядке кровеносная система, и он умер в 76 лет. Он знал, что бы сделали с ним русские, ведь он был офицером СС. Он занимался социальными аспектами аграрного законодательства в Литве и Белоруссии в XVI–XVIII вв., защитил докторскую диссертацию, и его книга об этом до сих пор является непревзойденной. Он указывал на отличия Литвы от Белоруссии в связи с различиями в праве наследования, в размерах земельных владений, в рационах питания, что вело к лучшему экономическому прогрессу в Литве. Он писал свой труд по источникам, выучив польский и русский; никто из социальных историков до него так не делал. Я говорил со многими поляками и русскими: книгу хорошо знают. Она немного коричневого цвета во вступлении, но это два-три предложения, т.е. нельзя сказать, что она расистская по содержанию. Тем более что законодательство было привнесено из Фландрии, и даже позднее, когда в культурном плане верхний слой в Литве был полонизирован, аграрное законодательство сохранилось.

Что касается словаря исторических понятий, то здесь и концепция, и методы были моими; Конце не был в этих вопросах большим специалистом, в отличие от своего учителя Ипсена, который действительно занимался семантикой. Для словаря я написал сам или в соавторстве статьи о демократии, эмансипации, революции, прогрессе, государстве, народе, кризисе, суверенитете.

Я также должен выделить своего учителя Йохана Куна, от которого унаследовал интерес к языку и лингвистическим вопросам – он мой непосредственный научный руководитель. Моим преподавателем социологии был Альфред Вебер, брат Макса Вебера. Философию преподавали Ханс-Георг Гадамер и его друг Левит, он был евреем, бежавшим через Италию и Японию в Америку. Часть его знаменитой книги «Мировая история и событие» (*Weltgeschichte und hailes Geschehen*) я перевел сам. Наконец, надо отметить Карла Шмитта; в национал-социалистские времена он был известным юристом, за это на него всегда нападали, но он никогда и не требовал своей реабилитации. Он был значительным теоретиком права, исходившим из того, что юридические понятия связаны с историей и политикой. Рассматривая политическое содержание юриспруденции, он принимал оппозицию «друг–враг» как базовую категорию. Это всегда критикуется, ведь «друг–враг» – идеологическая категория, и получается, что идеология определяет право. Но посмотрите на Чечню, или на Израиль, на Палестину. Разве там этого нет: «друг–враг»?

Левит, а не Конце<sup>2</sup>, был под влиянием Броделя, он приглашал Броделя к нам в Гейдельберг, и я участвовал в дискуссии с ним, когда еще был ассистентом. Я помню, как сказал госпоже Бродель, что школа «Анналов», французская историография доводит историю «длительного времени» до Французской революции, а значит исключается поражение в войне с Германией, а революция рассматривается, так сказать, как конец долгой и славной французской истории. Это своего рода эскапизм. Это уводит от проблем современной истории. Госпожа Бродель сказала: «Да, да, но только не говорите этого ему». Я этого никогда не забуду. Позднее мы общались с Броделем, приглашали друг друга; я заключал договор между Билефельдским университетом и Высшей школой социальных наук. Сейчас в университете Билефельда французский почти упразднен как язык, он где-то в подвале, но это так, комментарий.

Говоря о более общих влияниях, я бы назвал Мартина Хайдеггера. Конечно, по политическим взглядам он был наци, но он останется одним из самых глубоких философов XX века. Меня более всего интересовали его теории, связанные с категорией «время». Я, конечно, никогда не был марксистом, но считал это учение важным в некоторых отношениях. Можно быть заинтересованным в идеях того или иного мыслителя, но это не значит быть целиком им подчиненным.

---

<sup>2</sup> Конце называли первым немецким историком, который, не без влияния Броделя и школы «Анналов», обратился к категории «долгого времени». Козеллек оспаривает это утверждение в своем интервью.

Позднее социальная история стала одним из главных направлений немецкой историографии, а одной из школ – сложившаяся в Билефельде социально-историческая школа, к ней относились, прежде всего, Кокка и Велер. Велер критиковал меня за то, что в моей книге по Пруссии аспект классовой борьбы представлен недостаточно, но социальное движение и социальная мобильность представляли для меня огромный интерес. Я исследовал в той книге классовую борьбу, но делал это через анализ законодательства, права и системы административного управления. Велер же шел от марксизма. Он критиковал меня потому, что я рассматривал переход от сословий к классам не как классовую борьбу: какая это классовая борьба, если аристократы и бюргеры были политически представлены как в консервативной, так и в реформаторской партии. Значит, реформы нельзя определять по классовой принадлежности, это была борьба против сословного строя. Есть признаки, что прусское общество становится классовым, то есть таким, где господствует доход, а не юридический статус, только перед 1848 г., в домартовский период. Вот такие были споры...

Наконец, я считаю важными 1953–1955 гг., когда я был в Англии. Я был в Бристоле, сначала год студентом, а затем два года преподавателем. Правда, это имело значение не для исторической семантики, а для того, чтобы лучше понять различия между английской и немецкой университетской жизнью. Уровень университетского образования в Англии намного ниже немецкого, и там есть своя строгая иерархия. Для меня не было очевидно, что это образец западной демократической модели и по сравнению с Гейдельбергом. Гейдельберг был либеральным университетом, и для меня как для воспитанника гитлерюгенда и солдата было освобождением изучать то, что я хотел, никто за мной не следил, я мог делать, что хотел, читал рефераты, были хорошие дискуссии с профессорами. Так что в этом смысле различий не было, разве что уровень образования был в Бристоле ниже. Но это был провинциальный университет, другое дело Оксфорд и Кембридж; там уровень несравненно выше. Я давал уроки ученикам частной школы, готовившимся поступать туда, и их уровень был выше, чем у бристольских студентов. И в этом различие: иерархия в образовании в Англии была куда строже, чем в Германии. У нас по-другому: Гейдельберг – известный университет, но, например, Фрейбург или Тюбинген столь же хороши. Но вот в чем отличие – это в том, что касается социальной обстановки. В Англии, так сказать, эликсиром жизни студентов были их собственные союзы. У нас в Гейдельберге этого почти не было. Мы медленно вставали на ноги. Если ты шесть лет воевал, то не будешь фехтовать.

*А. С.: Вы упомянули о языке и назвали важнейшей областью своих исследований историческую семантику. В какой мере Ваша концепция связана с так называемым лингвистическим поворотом, который иногда называют самым характерным признаком современной историографии?*

*Р. К.:* О лингвистическом повороте заговорили в 1960–1970-е гг., когда я уже давно занимался исторической семантикой. На самом деле внимание к слову, к тому контексту, в котором оно было произнесено, всегда было важнейшим в работе с историческим источником. Когда говорят о повороте к культурной истории, о лингвистическом повороте, я спрашиваю, в чем постановка вопроса. Все начинается с постановки вопроса, и никакого догматически установленного метода не существует, метод определяется в зависимости от постановки вопроса. Некоторые марксисты говорят, что история языка – это чистая идеология, но я не могу сказать, что это полностью так. В общем, язык – это самостоятельная область, и его надо воспринимать всерьез. Эта одна из немногих вещей, которую я принимаю у Сталина. Когда я лежал в плену в лазарете, я читал труды Сталина. Ужасно скучно, но теория языка интересная. Я не славист, не знаю, сам ли он это писал.

Лингвистический поворот пришел из Америки. Когда немецкие социальные историки внезапно узнали, что слово можно рассматривать исторически, то тоже стали за лингвистический поворот. Не знаю... Меня два десятилетия не воспринимали всерьез, но сейчас, если это идет из Америки, то это похвально. Вот так обстоит дело. Велер и Кокка, после лингвистического поворота, изобретенного в Америке, занимаются культурной историей, это теперь допускается и в Билефельде, а я всю жизнь занимался историей языка, но говорили, что это неприемлемо, что это не социальная история.

*А. С.: Позволю себе сформулировать вопрос в более общем виде. Какое значение историк должен придавать общим методологическим вопросам? Мнения здесь расходятся: от признания верховенства методологии до отказа видеть ее значение для историка-исследователя конкретной проблемы.*

*Р. К.:* Конечно, любому исследователю присуща определенная методология, потому что алгоритм ответа на исторический вопрос – это уже методология, но это не значит, что историк непосредственно нуждается в теории для выражения своих идей. Нужно различать методологию и методы, и с точки зрения метода важнейшим является знание, как поставить вопросы к источнику. В истории вы можете доказывать все, что угодно, потому что история – это такое же изобретение, как и то, которое делается в любой другой отрасли науки и зна-

ния. Однако есть одна преграда – это источник, это то, что я называю «нет-сила» источника. Ни при каких обстоятельствах нельзя доказать то, что источники отрицают. Хорошая история – это такая история, которая основана на сравнении между историей разных народов. История неизбежно затрагивает острые политические проблемы, то, что называют «взрывоопасными вопросами», она выясняет их происхождение и призвана напоминать, что политика – выбор не между хорошим и плохим, а между плохим и плохим, между худшим и лучшим.

*А. С.: Встречается суждение, что Ваша теория концептов – один из влиятельных вариантов дискурсивного анализа, возникновение которого часто связывается с концепциями постмодернизма. О серьезном воздействии постмодернизма на современные исторические исследования говорится достаточно много. Что Вы думаете по этому поводу?*

**Р. К.:** Я не люблю этот термин и считаю, что лингвистически так говорить неправильно. Во всех моих работах присутствует оппозиция «древний–современный», но я достаточно много занимался исторической семантикой и вижу, что постмодернизм подразумевает оппозицию «современный–современный», т.е. претензию на то, что «я еще новее». Поэтому такая дефиниция выглядит странной, это только некий логический трюк. Другое дело, что соответствующие теории опровергают концепции линейного прогресса, представление, что общество находится в непрерывном процессе прогрессивного развития, и в этом смысле постмодернизм полезен. Но с другой стороны, я и так никогда не верил в линейный прогресс, его можно увидеть только в технике. Что касается способов деятельности, методов, то здесь все сложнее. Есть старые методы, которые могут быть полезны. Китайской медицине две тысячи лет, но она современная, и европейцы только постепенно учатся ее методам, и хоть ее часто не воспринимают всерьез, она бывает успешной. Итак, если понятие «постмодернизм» важно для самоопределения людей, то не обязательно принимать это всерьез; об этом можно спорить. Во всяком случае я слишком стар, чтобы учиться еще и этому.

Что касается моей концепции, то в ней важно понятие «времени седловины». Для Франции это классический период при Людовике XIV, потом революция 1789 г.; тогда тоже были большие изменения. В Англии – Гражданская война, которая, правда, была безуспешной во многих отношениях, но многое принципиально изменила. В Англии почти нет крестьян, по словам Маркса, была создана резервная армия труда. Это особая проблема для Англии, позволяющая перенести «время седловины» в XVII – начало XVIII в. В Италии «время сед-

ловины» наступило раньше, это эпоха Возрождения, великое время Флоренции и Рима, искусства, ремесла и банковской системы, бывших ведущими в Европе. Сложно определить точное «время седловины» для России. Можно с оговоркой говорить о Петре Великом, но он не все смог осуществить, потом, вероятно, Екатерина Великая. Что касается большевистской революции, конечно, осуществлено было многое, но можно видеть, что аграрное производство с индустриализацией практически обрушилось. При Сталине индустриализация и тяжелая промышленность были объявлены смыслом истории. Невероятно, что страна, бывшая до первой мировой войны экспортером, еще при Горбачеве была вынуждена ввозить зерно из Канады. Это безумие, когда столько земли. Все это значит только, что «время седловины» нельзя видеть где угодно; нужно исследовать факторы и условия.

*А. С.: Сейчас, когда в России много говорится о свободе творчества историков, об отсутствии запретных тем, хотелось бы знать Ваше мнение: есть ли запретные темы в западной историографии. У этого вопроса есть не только политический аспект. В последние десятилетия западные историки много сделали для изучения проблем, в исследовании которых многие у нас по-прежнему видят нечто маргинальное, например, история сексуальности в разных ее аспектах.*

*Р. К.:* Конечно, никаких формальных ограничений на рассмотрение того или иного вопроса не существует, любой вправе изучать интересующую его проблему. Что касается сексуальности и других вопросов такого рода, то никакого предубеждения здесь нет. Это один из аспектов культуры, а история культуры явилась одной из динамично развивающихся областей историографии. В отношении другого аспекта я бы выразился более осторожно: понятие политической корректности существует. Многие историки предпочитают не только не обострять, но и «обойти» такие проблемы, которые могут ухудшить отношения между, например, государствами Европейского Союза, скажем Германии с Францией в связи с Эльзасом, или с Польшей в связи с Познанью. Есть и другая сторона. Она касается преодоления последствий фашизма и второй мировой войны. Германия признала свою вину перед евреями и проводит соответствующую политику. Но, кроме евреев, были и другие категории пострадавших, например, цыгане или гомосексуалисты. Когда я выступал в полемике против памятников Холокосту, то не потому, что я призываю забыть об убийствах евреев, а потому, что память о евреях становится привилегированной и возникает иерархия жертв. Получается, что еврейские жертвы особые. Но смерть – это всегда смерть, и у нас умерло с голоду три с половиной миллиона русских военнопленных. Они были практиче-

ски убиты, это 60 % всех русских пленных. Но о них не вспоминают. Я всегда говорил, что если немецкая нация поставляла убийц, то обо всех жертвах надо вспоминать на паритетных началах, а не вспоминать только о евреях. Но я ничего не добился. Какие ссоры у меня были с Вайцзеккером, Кодем, меня исключили из комиссии бундесрата, так как я требовал, чтобы вспоминали всех. Нет, было политически правильно вспоминать только евреев; это давление Израиля и Америки, остальных откладывают в долгий ящик. И мне это противно, так как если называть СС убийцами, то как можно пользоваться их классификацией: евреи, гомосексуалисты, уголовники, цыгане, русские, поляки, итальянцы, французы – ведь это критерии концлагеря, но ведь они принимаются, то есть память стилизуется согласно критериям СС. Политкорректность – это не что иное, как трусость. Можно сказать, что это давление системы. И люди капитулируют. И Шредер тоже, об этом говорит его речь в Варшаве. Кто бы ни начал войну, сначала Гитлер, потом Сталин, но ведь только в Восточной Европе было 12 миллионов беженцев, из которых 2 миллиона погибло.

Сколько миллионов беженцев погибло, в том числе немецких, и вспоминать о своих погибших требует хотя бы минимум приличия, кто бы ни начал войну, потому что смерть – всегда смерть. В Билефельде был памятник погибшим в войне 1870–1871 гг.; в 1960-х гг. СДПГ разрушила его, но еще сохранялась Ника с крыльями на высокой колонне, самих германцев внизу убрали, но Ника была. Теперь убрали и ее, потому что памятник милитаристский. Интересно, что в Билефельде нет памятника солдатам, погибшим в первой мировой войне. Был спор между СДПГ и консерваторами. На частные средства поставили памятник на горе Йоханнесберг. Скульптуру обезглавили, потом отбили руку, приделали новую голову и новую руку и снова отбили. Была составлена книга погибших во второй мировой войне солдат из Билефельда, примерно три тысячи имен. Ее можно было полистать, вспомнить людей в минуту гибели. Нет теперь ее, выкрали из церкви в Старом городе. Такое отношение к собственным убитым я считаю отвратительным, но типичным для немецкого общества сегодня. Мол, все это были преступления, не хочу об этом вспоминать, мне все равно. Если бы в этих примерах книга или памятник были посвящены памяти евреев, «Нью Йорк Таймс» кричала бы. Все газеты мира набросились бы. Это значит, что у немцев нет чувства собственного достоинства. Я не говорю, что немцы невиновны, но, признавая собственную вину, нельзя предавать своих мертвецов<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Проф. Козеллек указал на свои статьи, в которых затрагивается проблема памятников: *Kosellek R. Zur politischen Ikonologie des gewaltsamen Todes: Ein*

Вообще, одна из лучших работ, которую я знаю о памятниках, это работа моей ученицы Сабины Арнольд о памятниках Сталинграда. Она использовала методы устной истории, изучила политическую эстетику памятников, а также имеющиеся по этому поводу письменные материалы, речи, например. Ее тезис в том, что это была идеологическая программа, предполагавшая создание культа погибших, при Сталине этого еще не было, она началась при Хрущеве. Ее смысл состоял в подъеме трудового героизма: вспоминая погибших, работай лучше. Такой подход многим в России может не нравиться, но функционализация воспоминаний происходит всегда. Сабина пробыла в России, я думаю, восемь лет и многое открыла в архивах, например, переписку солдат Сталинграда, ее потом использовали и другие. Кроме того, она помогла многим бывшим солдатам, с которыми познакомилась, например, протезами и медикаментами. Она нашла страшную историю о любви немецкого капитана и еврейки из Франкфурта, которые встретились в Минске, в гетто. Чтобы спасти ее от гибели, он посадил в грузовик 20 евреек и заставил водителя, угрожая пистолетом, выехать в партизанский район. Что случилось, когда они попали к русским? Он попал на Лубянку и бесследно исчез; ее депортировали на поселение в Восточную Сибирь, потом она оказалась в Ростове-на-Дону. Сабина нашла эту старую женщину там, у нее были дети и внуки, и сделала об этом очень впечатляющий фильм<sup>4</sup>.

*А. С.:* Что вы можете сказать о своей деятельности по постановке исторического образования в университете Билефельда?

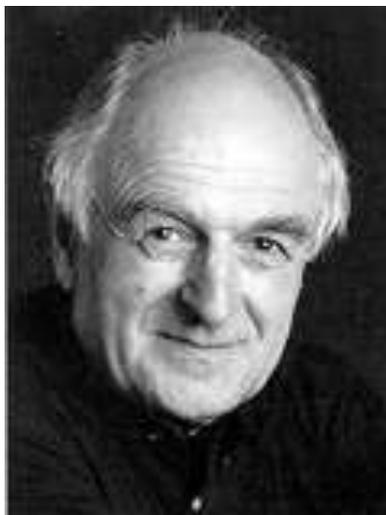
*Р. К.:* Я участвовал в работе Учредительного комитета по созданию университета и был, так сказать, учредительным деканом. Вводный курс был своего рода семинаром; намерение было такое, чтобы сделать введение обо всех эпохах, чтобы специалисты по древности, средневековью, новому времени сотрудничали в нем. К сожалению, осуществить такой универсально-исторический подход в полной мере не удалось: то не было специалистов по древнему миру, то кто-то хотел заниматься только своими делами. Я не был первым директором Центра междисциплинарных исследований, но, заняв эту должность, изменил его устав, добившись принципа коллегиальности и ротации. Сейчас устав другой, но я думаю, что тогда это было новацией.

---

deutsch-französischer Vergleich // Gedenken im Zwiespalt. Konfliktlinien europäischen Erinnerns; *Kozelleck R.* Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses // Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord / Herausgegeben von V. Knigge und N. Frei.

<sup>4</sup> Речь идет о книге: *Arnold, Sabine R.* Stalingrad im sowjetischen Gedächtnis: Kriegererinnerung und Geschichtsbild im totalitären Staat. Bohum, 1998.

## ИНТЕРВЬЮ С ГАНСОМ-УЛЬРИХОМ ВЕЛЕРОМ (о Билефельдской школе и ее представителях)<sup>1</sup>



**Ганс-Ульрих Велер (11.09.1931–05.07.2014)**

В историографии Г.-У. Велера принято считать одним из лидеров и основателей социально-исторической школы, называемой иногда “билефельдской”. Её появление в 1960–1970-е гг. было связано с необходимостью обновления теоретико-методологической базы германской историографии. Необходимость обращения к социальной истории, требование критического пересмотра прежних исторических концепций, взаимосвязь истории с другими науками (экономикой, политологией, социологией), сциентизация исторической науки, акцент на воспитательной функции истории в обществе – стали основными

---

<sup>1</sup> *Интервьюер:* А.А. Турыгин. *Место:* Билефельдский университет. Кабинет проф. Г.-У. Велера (S 3-218). *Дата:* 24.06.2005. Г.-У. Велер в это время, оставаясь приглашенным профессором университетов Гарварда, Принстона и Стэнфорда, продолжал, как и прежде (с 1971 г.), работать в Билефельдском университете, почетным профессором которого он являлся. Кроме того, он возглавлял редакционный комитет, который осуществлял издание серии книг под общим заголовком «Критические исследования в исторической науке».

требованиями критически настроенных по отношению к традиционной политической историографии билефельдских историков. Одновременно с этим, Г.-У. Велер, вместе с Ю. Коккой, Г.-Ю. Пуле и многочисленными докторантами, предложили “историко-социальную науку”, ориентированную на исследование структур, процессов и коллективных феноменов. Ее программа представляла один из вариантов выхода исторической науки из длительного теоретико-методологического кризиса и ознаменовала смену научной парадигмы.

*А. Т.: Г-н Велер, расскажите, пожалуйста, о своем происхождении и условиях, в которых Вы получили свое первое образование?*

**Г.-У. В.:** Свое детство я провел в небольшом городе. Область, где он находился, называлась ‘Высокогорьем’ и располагалась в 50-ти км восточнее Кёльна. Туда в 1933 г. переехали мои родители, после чего отец сразу же солдатом ушел на войну. Я больше его не увидел. В семье нас было четверо. Тогда были очень тяжелые времена.

В 1952 году я успешно сдал вступительные экзамены и к своей радости сразу же получил стипендию. Эта стипендия, предоставленная фондом Фулбрайта, позволила мне принять участие в американской программе по обмену студентами. Потом, в течение целого года, я обучался в американском университете. Позже, около полугода, был чернорабочим в Калифорнии. Там я работал сварщиком и водителем грузовика. После возвращения в Германию, учился в Бонне, где стал интересоваться новой политической системой. Один из моих родственников возглавлял комитет в Бундестаге, потому я мог, так сказать, жить недалеко от К. Аденауэра. Но историки в университете были ужасно скучными и старомодными, поэтому я принял решение переехать в Кёльн. В Кельнском университете я стал посещать лекции Теодора Шидера и очень хорошего социолога Рене Кёнига. Переехав из Бонна в Кельн, я сделал для себя вывод, что не стоит заниматься только лишь одной историей. Поэтому в новом университете я записался на двойные курсы. Помимо истории я стал посещать занятия на факультете социологии и экономики. Позже я сдавал экзамен Рене Кёнигу по раннему творчеству К. Маркса. Занимаясь социальными и экономическими науками, я интересовался преимущественно историческими феноменами.

С 1958 г. я начал заниматься диссертацией, посвященной соотношению германской социал-демократии с национальным государством и национализмом. Её хронологические рамки охватывали период со времён Карла Маркса и до 1914 г. Тогда я очень быстро установил, что основной проблемой исследования являются взаимоотношения Пруссии и Польши. Для того чтобы собрать необходимый материал

для моей будущей работы я должен был поехать в Польшу. С этой целью я написал письмо члену Центрального комитета Польской республики профессору Данишевскому (Daniszewski). Получив ответ, я должен был сразу же приехать, так как между нашими странами еще не существовало дипломатических отношений. Но он выслал мне визу. Можно сказать, что я был первым западным историком, интересующимся польскими социалистами. Позже я сдал зачет по курсу польского языка и, как мне кажется, мог довольно быстро и понятно изъясняться на нем. В варшавском архиве я проработал четыре месяца, а позже, около месяца, в Кракове и Вроцлаве.

В 1960 г. я защитил диссертацию и с того самого времени стал заниматься проблемой империализма. Еще в Америке у меня сложилось впечатление, что американцы не занимаются проблемой своего собственного империализма, потому как боятся возможных последствий этого намерения. Империализму была посвящена моя вторая исследовательская работа; у нас в Германии существует традиция написания второй докторской работы – абилитационной работы. Так, я начал собирать материал для исследования американского империализма со времени Гражданской войны и до 1900 г. Я стал получать очень хорошую стипендию, которую предоставлял “American Council of Learning Societies” (ACLS). За счет средств комитета мне также могли отсылать до 1500 кг книг. Это было очень великодушно.

Позже, около года я был в Калифорнии, так как в Стэнфорде располагалась специальная библиотека, где находились все правительственные документы. Подобные документы, кроме неё, можно было обнаружить только в библиотеке Конгресса. Потом в течение полугода я работал в национальном архиве в Вашингтоне. Затем я вернулся в Германию и стал много писать. Здесь на факультете, из-за усилившейся критики американцев, тема была отклонена. Тогда я стал думать и размышлять на тему империализма. Довольно быстро я написал книгу о германском колониальном империализме, она называлась “Бисмарк и империализм”. Она же стала абилитационной работой, защита которой состоялась в 1971 г. Затем, в качестве приват-доцента два года я проработал в Кёльне. Я, собственно, не хотел долго заниматься американской историей. После Кёльского университета я работал в Берлине. Позже, меня пригласила комиссия, занимавшаяся проектом основания Билефельдского университета. Тогда в Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия) образовали 15 новых университетов. Билефельдская комиссия предложила мне сотрудничество и, по возможности, переезд в Билефельд. Я был рад, поскольку предложение было очень заманчивым. “Зеленый облик” университета, так сказать, создавался без участия старшего поколения, так как это пред-

ставлялось молодым. Приняв предложение, я провел в Берлине еще один год и летом 1971 года переехал в Билефельд. Это было началом так называемого “билефельдского времени”.

*А. Т.: Что повлияло на Ваш интерес к истории и выбор её как специальности?*

*Г.-У. В.:* На мое желание заниматься историей, безусловно, повлиял жизненный опыт. Во время войны я уже не был ребенком и вполне осознанно её воспринимал, особенно, когда каждую ночь неподалеку от нас происходили бомбардировки Кёльна. Из-за того, что почти все мужчины солдатами ушли на войну, нас часто возили в город тушить пожар. Было неприятно, так как после бомбовой атаки температура в городе поднималась очень высоко. Асфальт на улице плавился так, что по нему невозможно было даже проехать. Даже если мы приезжали спустя час, высокая температура сохранялась, а дома все еще горели. К этому неприятному опыту также относился страх стать мишенью для американских истребителей, которые, летая над землей, постоянно преследовали и в дальнейшем обстреливали каждого велосипедиста.

Позже я продолжил начавшуюся еще до войны учебу. К счастью, мне было только 13 лет, когда война закончилась. Дальнейшее обучение началось уже с 14 лет. В сложившейся тогда политической ситуации я должен был научиться не только зарабатывать деньги, но и, так сказать, быть способным пережить недавнее прошлое. Многие из того поколения стали в последующем историками, социологами, правоведами. Что касается 1950–1960-х гг., то их влияние на мое желание заниматься историей было, по сравнению с 1940-ми, минимальным. Война и послевоенное время были сложными периодами в моей жизни. Приходилось голодать и решать проблемы с жильем. Потом стало лучше. Должно было возникнуть не только новое государство с возрожденной экономикой, но и измениться менталитет самих немцев. Говоря об обучении истории, прежде всего истории нового времени, а не о традиционном интересе к античной и средневековой истории, важно было воспринимать её как политическую педагогику, что отличало бы её от той науки, которой занимались раньше. Но тем, кто начал изучать историю нового времени, было понятно, что пришлось бы принимать участие в дебатах о Третьем Рейхе и последующих событиях. Среди историков того поколения было больше историков современности, чем историков-медиевистов или историков античности. И поэтому большую часть времени мы проводили в дискуссиях на заседаниях профсоюзов, высших народных школах, академиях, поднимая вопросы, почему был 1933 год, Вторая Мировая война и т.д.

Случилось так, что я принадлежал к политическому поколению родившихся в период между 1927–1941 гг., почти все из которого какое-то время были солдатами или же по три-четыре года числились в рядах гитлерюгенда. Многие из тех, кто принадлежал к этому поколению, позже стали интенсивно заниматься наукой и всегда представлять мнение политизированной общественности. По сравнению с другими странами, такой процесс происходил только в Германии. Во Франции можно назвать лишь пару молодых историков-интеллектуалов, которые, возмущаясь режимом Виши, перешли в коммунистическую партию, но позже, спустя один-два года, демонстративно покинули её ряды, предпочитая заниматься наукой. В Англии в то время существовала неомарксистская группа историков, к числу которых принадлежали Э. Хобсбаум, Э. Томпсон, Р. Хилтон. Они оказывали влияние на общественность, но делали это нерегулярно. Позже они и вовсе умолкли. В Италии развивалась дискуссия о фашизме и сопротивлении, но там не было политического поколения, которое могло заниматься исследованием этой темы столь же интенсивно. В Японии этого также не произошло.

Я пережил время, которое было связано с диктатурой Гитлера, опытом Холокоста и войны за уничтожение населения в России и Польше. Потому наше поколение, так сказать, до настоящего времени активно стремится принимать участие в новых спорах по телевидению или радио. Очень увлекательными для нашего политизированного поколения казались попытки повлиять на общественное мнение в новом, послевоенном государстве. Если сравнивать с Америкой, где я часто бывал и следил за работой журналистов, то там шансы быть опубликованным в прессе имели лишь государственные чиновники, как, скажем, А. Шлезингер, написавший в “New York Times” статью о смерти президента Кеннеди. В то же время здесь, если мы этого хотели, то могли хоть каждую неделю печататься в газетах “Frankfurter Allgemeinen”, “Die Zeit”, “Der Stern” и до. Система здесь была более открыта по отношению к общественности. В Америке, напротив, на телевидение не пропускали ни историков, ни социологов, ни политологов, брали у них интервью и позже цитировали. В Германии, образовалась очень благоприятная и привлекательная ситуация.

*А. Т.:* *Какую роль играло основание Билефельдского университета в формировании новой историографической школы?*

*Г.-У. В.:* Я не знаю. Мы все были рады. Я был деканом и в течение целого года оставался один. Тогда многими вопросами занималась специальная комиссия, куда входили представители министерства и два-три профессора. Мы, так сказать, находились у этой комис-

сии в подчинении. К тому же, ситуация совершенно отличалась от тех, которые часто встречались в старых германских университетах. В начале работы мы не думали над тем, кто мой друг, с кем я прежде учился, был знаком и т.д. Для работы в университете стремились пригласить лучших специалистов. Например, по экономической истории такими специалистами тогда являлись Дэвид Лэндс в Гарварде, Эрик Хобсбаум или Сидней Поллард. Но, Лэндс не хотел уезжать из Америки, Хобсбаум также не хотел покидать Лондона. Здесь стал работать только С. Поллард. Удивительно, что среди них фактически не оказалось специалистов по социальной истории. Ими не были ни те, ни другие. Одним из известных социальных историков того времени считался Ю. Кокка, получивший должность в университете г. Мюнстера. Самым лучшим теоретиком истории был Р. Козеллек, который также стал работать в университете. Фактически, наше поколение было политически гомогенным. Все мы не были ни консерваторами, ни марксистами, а, скорее, занимали леволиберальные позиции. Вследствие этого, здесь не возникало политической напряженности, как это было в 1968 г. в других германских университетах. Тогда был настоящий хаос. Многие остались без работы. Большинство из новых университетов как раз было основано в то трудное время. Появление новых университетов способствовало тому, что кадры стали оставаться в пределах одной земли, а не так как это было раньше, когда для получения образования из Вестфалии приходилось уезжать, например, в Мюнхен. Теперь кадры образовали необходимый потенциал в Бохуме или в Билефельде.

*А. Т.:* Как бы Вы сами определили понятие “билефельдской школы” сегодня? И можно ли говорить о ней, не принимая во внимание третий этаж, который занимает факультет истории, философии и теологии?<sup>2</sup>

*Г.-У. В.:* “Билефельдская школа” возникла, так сказать, благодаря усилиям лучших и способных людей. Всех их объединял повышенный теоретический интерес к социальной истории, который удачно воплотился в практике исследования.

Сегодня вовсе нельзя говорить о “билефельдской школе”. Из старой группы в ней фактически никого уже не осталось. Здесь уже все по-новому, все преследуют другие интересы. Нельзя говорить больше и о целостности факультета.

---

<sup>2</sup> Третий этаж Билефельдского университета, секцию S, занимал факультет истории, теологии и философии, где фактически напротив располагались исторические кафедры и кабинеты основателей “школы”: Г.-У. Велера – кафедра истории XIX–XX вв., Ю. Кокки – кафедра социальной истории, кабинет Г.-Ю. Пуле.

Что касается нас, то все мы познакомились еще в Америке и Англии, поэтому, переехав сюда, продолжили наше очень тесное общение. В американских университетах все мы достаточно обстоятельно занимались проблемами социальной истории. Мы не могли заниматься ею в старых германских университетах. Между тем в американские университеты нас охотно приглашали. Там мы встречались как минимум через каждые две недели. Оттого наши личные отношения становились гораздо крепче. В конце недели мы собирались вместе, согласовывали планы на следующий понедельник, а вечером, когда наши жены готовили на кухне ужин, обсуждали важные проблемы. После ужина расходились или оставались еще на какое-то время.

В то время отношения с докторантами также были очень тесными. Докторантов, которых я знал в Кёльне, а Ю. Кокка в Берлине и Мюнстере, мы часто приглашали на коллоквиумы, на которых устраивали продолжительные и пылкие дискуссии. В то время сам я писал реабилитационную работу и на коллоквиумы выносил те вопросы, которые меня интересовали. Мы дискутировали по 2, 3, 4, а то и больше часов, после чего все вместе шли в ближайший ресторан. Я все-таки придерживаюсь мнения, что после многочасовой, жаркой интеллектуальной дискуссии, иногда нужно эмоционально разрядиться. В качестве места для такой разрядки, мы часто выбирали какой-нибудь греческий или небольшой итальянский ресторан. Так было почти после каждого семинара с докторантами. В общем, я провел около 550-ти заседаний (из них – 330 с Ю. Коккой), которые отличала определенная однородность участников. Темп наших дискуссий не ослабевал. Некоторые не выдерживали и уходили, иные чувствовали, что нужно было многому учиться. У других возникала некая гордость тем, что самим приходилось многому учиться. Докторантам приходилось уделять очень много времени. Так, например, если возникали какие-то вопросы, можно было встречаться даже в субботу или воскресенье, приглашая друг друга на чай или кофе. Для этого в выходные мы могли встречаться даже в университете, в своих кабинетах. Это также было новшеством, которое отличало наш университет. Но, при всем этом, не так много времени мы могли уделять студентам.

Наши идеи часто становились предметом критики, исходившей первоначально от английских и американских историков. Это они закрепили за нами этикетку “билефельдской школы” (Дж. Эли, Д. Блэкторн, Д. Шихан, Ч. Майер и др.). Принято считать, что период 1972 – 1980-е гг. был временем расцвета “билефельдской школы”, когда мы очень интересовались историко-социальной наукой. В сущности, они никогда не понимали нас как “школу”, так как предпочитали ориен-

тироваться на ряд поднятых социальной историей вопросов. Критику продолжили молодые докторанты. Несмотря на это, мы оставались независимыми, прежде всего от старых и консервативных коллег.

Нас объединяло недовольство той историей, которая преподавалась раньше. Тогда я сам изучал социологию. Ю. Кокка, также был недоволен отсутствием ясно подчеркнутой параллели исторической науки с политологией. Р. Козеллек был влиятельным лингвистом и философом, недовольным прежней историей. С. Поллард, будучи историком, изучал еще и экономику. Все билефельдцы, по меньшей мере, получили двойное образование. Существовало общее убеждение в том, что необходимо преодолеть узость исторической науки. Из этого был сделан соответствующий вывод. На многочисленных лекциях, семинарах стали чаще говорить о творчестве и читать Вебера, Зиммеля, Маркса или Дюркгейма. На этом были воспитаны хорошие люди, ставшие впоследствии докторантами и имевшие двойное образование.

Примерно с 1989 г. ситуация изменилась. К этому времени ушли в отставку Козеллек и Поллард, Кокка переехал в Берлин, Пуле – во Франкфурт. Когда многие из нас разъехались, их место заняли новые люди, наши прежние докторанты. Спустя еще три года они предпочли заниматься иным, чем социальная история, и стали работать в других университетах. Таким образом, факультет, так сказать, был переоснован. Если смотреть на “билефельдскую школу”, существовавшую приблизительно в период 1972–1980-е гг. под углом персональной преемственности, то можно констатировать её распад, так как многие из нас оставили университет.

Что касается третьего этажа, то здесь, вдоль по коридору, находились наши кабинеты. Здесь жили, друг напротив друга, Велер, Кокка, Козеллек, Клессман и Пуле. В этом коридоре всегда толпился народ, а разговоры подолгу не замолкали. При этом каждый студент знал, что с Велером можно было говорить только в перерыве между 11 и 12 часами. Такой же порядок сохранялся и в отношении других. О времени можно было договориться с нашими секретарями.

*А. Т.:* Как интенсивно развивались связи историко-социальной науки с другими направлениями исторических исследований в Германии? Можно ли было, по Вашему мнению, говорить о продуктивной дискуссии?

**Г.-У. В.:** Нет, нельзя, потому как историко-социальная наука, в основном, представляла собой опыт взаимодействия исторической науки и исторической социологии *a la* Вебер, или же германских учёных Р. Лепсиуса и В. Шлехтера. Можно было говорить о преодолении старых границ между специальностями. Но весь этот опыт нельзя бы-

ло рассматривать отдельно от социологии. Влияние социологии на профессионализацию было огромным. Речь велась уже о новой социологии, без исторических величин. В то время были такие учёные, как Райнхард Лепсиус, Вольфганг Шлукхтер или Вольфганг Цапф, которые оказали на нас влияние, заинтересовав тем, что не вписывалось в рамки традиционных представлений старых консервативных историков политики. Но, если принимать во внимание весь факультет, то, бесспорно, следует остановиться на творчестве М. Вебера, который, по нашему мнению, был самым выдающимся социологом XIX–XX вв.

Позже все мы решительно занимались марксизмом, вернее, отстаивали значение наследия молодого Маркса, идеи, развиваемые философом до революции 1848 г. Потом многое изменилось. Но до настоящего времени здесь еще интересуются творчеством молодого философа. А тогда, в 1950–1960-е гг. произошло “открытие” наследия молодого Маркса, которое сделали английские, французские и некоторые из американских философов. Они видели в нем младогегельянца, левого гегельянца. В то время я работал в Кёльне, где организовал три семинара по творчеству раннего Маркса и возникновению Коммунистического манифеста марксистской революции 1848 г. И одновременно с этим, я готовил семинар у Р. Кёнига о К. Марксе как социальном теоретике. Ю. Кокка сделал кое-что об этом в Берлине. Но все это послужило основанием для спора со старыми, консервативными историками, которые в меньшей степени были марксистами. Если я хорошо отзывался о Марксе, то другими это расценивалось так, будто я и те, кто был со мной согласен, отдавали предпочтение левой партии. Некоторые из нас все же вступили в ряды СПГ (Социалистическая партия Германии), прежде всего, специалисты по древней истории. Позже они вышли из партии, более заинтересовавшись исследованием тезисов М. Вебера, чем К. Маркса. Потом, отвечая на специальные вопросы, мы во многом ссылались на М. Вебера. В 1970–1980-е годы именно его идеи стали базисом для “билефельдской школы”.

Исследуя творчество М. Вебера и раннего К. Маркса, мы стремились разработать концепцию исторического синтеза, “историю общества”. Если в целом характеризовать историю общества как новый способ синтеза, то не нужно ничего выдумывать, а предложить исследовать разные исторические величины, взятые из общественной жизни. Из них я выбрал лишь четыре: экономику, социальную структуру, политическое господство и развитие культуры. Я стремился при помощи четырех-пяти величин, называя их осями, исследовать их синтез, не повторявший тот, который существовал в прежней истории внешней и внутренней политики. Поэтому я все видел по-другому.

Историко-социальная наука стала некоей методологической рекомендацией, которая должна была раздвинуть границы старой истории и найти решение её проблем, чего не было сделано до её появления. Позже оказалось, что для этого требовалось использовать опыт отдельных специализированных дисциплин, потому как проблемы не соотносились с границами одной специальности, замкнутой в пределах факультета. Если, например, обратиться к истории германского буржуазного общества, которая изучалась в университетах и по которой студенты должны были сдавать экзамен, то прежде чем пойти на государственную службу, в профессию или в органы юстиции, им необходимо было иметь наиболее полное представление о феномене “германского общества” и его историческом развитии, которое складывалось из представлений о его частных секторах. Этот феномен охватывал проблемы, которые являлись объектом исследования разных исторических направлений: история семьи, которая затрагивала проблему социализации будущих членов общества, история образования изучала историю школ, гимназий, университетов, а также их влияние на становление личности, история ментальности ориентировалась на исследование менталитета и т.д. Очень быстро установили, что нельзя больше заниматься исключительно политической историей прошлого. Тогда об этом стали высказываться социологи, уточняя проблему не в границах специальности, а исследуя её по всем правилам познания других дисциплин. В целом без намерения создать историю общества не представилось бы возможности писать о социальной структуре общества. Но, занимаясь только социологией, невозможно было описывать экономический рост, так как для этого необходимо изучить экономическую теорию. Все это “Фокус-Покус”. Но, в принципе, останавливаясь на различии, важно подчеркнуть то, что историко-социальная наука указывает на ежедневные проблемы, а история общества преследует цели создать синтез, на основании которого можно было бы лучше интерпретировать, больше описывать, чем это было возможно в рамках старых подходов, сконцентрированных на политической истории.

*А. Т.: Чем бы Вы могли объяснить небывалый успех “билефельдской школы” в 1970–1980-е годы?*

*Г.-У. В.:* На мой взгляд, во-первых, это был персональный успех тех людей, которые в течение двадцати лет оставались в одном университете и стали действительно известными. Тем людям, которые получали здесь профессию, предлагались благоприятные условия для деятельности. Сюда же можно отнести организацию Центра междисциплинарных исследований (Zif), возможность в течение целого года

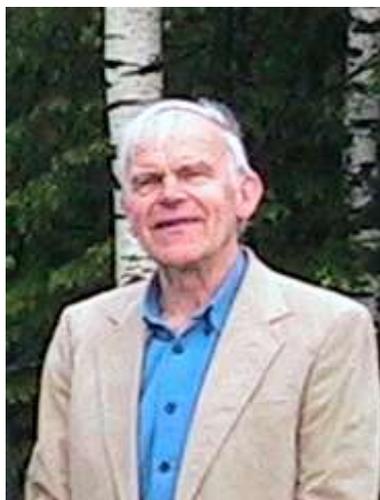
стажироваться и заниматься исследовательской деятельностью в американских университетах или получать иную помощь. Благодаря этому, с самого начала и примерно до 1989–1990-х гг. никто не уходил отсюда. Это в высшей степени удивительно, ведь в других германских университетах существовала практика частой смены рабочих мест. Все это – во-первых. Далее следует указать на молодое поколение, которое обучалось в то время, когда мы как раз были студентами. Оно выражало глубокое недовольство старыми способами написания истории политики, большой политики. И, третьим было то, что имелся определенный жизненный опыт времён Третьего Рейха, войны, Холокоста. На фоне общего недоверия к политической истории мы стремились интерпретировать актуальные проблемы. К ним можно отнести, например, проблему трансформации Германии из промышленно и культурно развитой страны в национал-социалистическое государство, необходимость и актуальность выводов из национал-социалистического прошлого. Потому, задачей историко-социальной науки стал поиск интерпретативных моделей и методологических подходов, которые бы лучше подходили для исследования феномена Третьего Рейха и последующей истории страны. Можно было увидеть, что послужило причиной для такого намерения. История современности уже не вписывалась в границы одной специальности. Существовал целый комплекс проблем, которые могли исследовать история земель, история финансов и т.д., и о которых раньше не имели представления. Выступив со своим собственным подходом, билефельдская клика отчасти удовлетворила существовавшую у студенчества потребность, потому как сама представляла форму убедительного сопротивления. Хотя это все было действительно нелегко. Во Франции, вокруг школы «Анналов» в свое время происходило приблизительно то же самое. Я очень хорошо знал Фернана Броделя. Это был такой старый империалист, который проглатывал все, что ему попадалось. В Англии, как и в Америке, вовсе не проявляли интереса к этим проблемам.

В настоящий момент у молодого поколения существует сильный интерес к культурной истории, истории ментальности и тому, что позволяет по-новому взглянуть на старые проблемы. Молодежь заявила, что старая билефельдская группа представляет уже антикварное достояние, что сегодня нас очень интересует. В настоящее время я размышляю над тремя факторами – персональном успехе, решительных намерениях защищать историко-социальную науку и значительном интересе студенчества к нам и нашим идеям. Мы воспитали целое поколение историков, среди которых был достаточно высоким процент женщин. Многие из тех, кто получил специализацию в Билефельдском университете, были высоко оценены критиками.

Говоря о «новой культурной истории», которой сейчас занимаются на факультете молодые специалисты, можно отметить такие хорошие работы, как, например, книги Вольфганга Райнхарда. Но, фактически, они посвящены тому, что такое “лингвистический поворот”, методам исследования ритуалов и т.п. В настоящее время пока не видят, каким образом можно использовать культурную историю для написания, скажем, истории земли. Для меня остается открытым вопросом, как преподнести и указать на убедительный потенциал наследия “билефельдской школы”, в том числе и для изучения культурной истории. И поэтому я не собираюсь так быстро сдаваться.

*А. Т.: Г-н Велер, большое спасибо Вам за этот разговор.*

## «БУДУЩЕЕ НЕМЫСЛИМО БЕЗ ПРОШЛОГО...» ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ Й. РОЛЬФЕСОМ<sup>1</sup>



Профессор Йоахим Рольфес (Joachim Rohlfs) родился 11 декабря 1929 г. Он начал свою трудовую деятельность учителем гимназии в 1954 г., в 1980–1995 гг. преподавал в университете г. Билефельда и после ухода на пенсию остался его почетным профессором.

Проф. Рольфес – автор многих научных трудов, в т.ч. монографий «Очерки дидактики истории» (1971, 1979), «Урок истории: содержание и цели» (1974), «Передача и восприятие истории» (1984), «История и ее дидактика» (1986, 2005), а также ряда школьных учебников: «Государство и нация в XIX в.» (1990), «Обращение с историей» (1992),

---

<sup>1</sup> Беседу с Й. Рольфесом вел профессор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского А.Б. Соколов. Интервью впервые было опубликовано в 2007 г. в журнале «Преподавание истории и обществознания в школе» в 2007 г. (№ 3, с. 59-67). Концепция дидактики истории Й. Рольфеса изложена в статье: Рольфес Й. Дидактика истории: история, понятие предмет // Преподавание истории в школе. 1999. № 7. С. 29-33. См. также: Соколова М.В. Педагогика исторической памяти: границы понятия // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 1. Т. II. С. 92-98.

«Германия после 1945 г.» (1995), «Европа: единство и многообразие» (2001). На протяжении многих лет он редактировал один из наиболее авторитетных журналов по вопросам дидактики истории – «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht» («История в науке и на уроке»). Суждения Й. Рольфеса о тенденциях развития исторического образования, о применении новых технологий обучения, об общественном значении истории свидетельствуют не только о различиях в преподавании истории в России и ФРГ, но и о наличии общих проблем.

*А.Б. Соколов*

*А. С.: Каковы были обстоятельства Вашей жизни до того, как Вы пришли в историю? Что значила история для поколения немцев, пришедших в университеты сразу после войны?*

**Й. Р.:** В мае 1945 г., когда закончилась Вторая мировая война, мне было пятнадцать с половиной лет. За плечами у меня была трехмесячная военная служба в вермахте. Учеба в школе в последний год войны постоянно прерывалась – из-за воздушных тревог, рытья земляных укреплений на побережье Северного моря, лагерей допризывной подготовки, оказания помощи беженцам и людям, потерявшим кров вследствие бомбардировок, и, наконец, из-за отправки на фронт. Учеба возобновилась только осенью 1945 г. Еще долго не хватало помещений и книг, в холодные зимы занятия часто отменялись, так как не было угля, чтобы отапливать школу.

Вначале по указанию британской военной администрации уроки по истории не проводились. Когда в 1947/48 учебном году они возобновились, новейшая немецкая история, особенно периода национал-социализма, не преподавалась. Ни школьная администрация, ни учителя, ни публицисты, ни представители университетской исторической науки за редкими исключениями внутренне не были готовы заниматься «германской катастрофой» (так была названа эта щекотливая тема в осторожно сформулированном заглавии книги известного историка Фридриха Мейнеке в 1946 г.). Такое положение сохранялось довольно долго. Даже во время моей учебы в университете в 1949–1954 гг. занятия по истории национал-социализма были редкими. Когда в 1958 г., будучи молодым учителем, я предлагал циклы занятий по этой теме на вечерних курсах, это вызывало огромный интерес учащихся, потому что они ощущали недостаток информации.

Еще учась в школе, я столкнулся с диаметрально противоположными интерпретациями истории с позиций двух совершенно различных политических систем. Во-первых, национал-шовинистической, расистской, германоцентричной, антидемократической, прославляющей «великих деятелей» и отвечающей целям ведения войны, которая

излагалась в национал-социалистических школьных учебниках. А во-вторых, космополитической, связанной с культурным наследием христианско-демократического Запада, ориентированной на историю духа и историю идей, демократическую и пацифистскую версию истории, к которой с начала «холодной войны» в 1947 г. добавился антикоммунистический компонент.

Такой опыт, свидетельствующий об использовании истории в политических целях, пробудил у меня интерес к этому предмету, который еще более усилился в связи с вопросом об исторических корнях радикального германского фашизма и Холокоста. Однако удовлетворить этот интерес во время обучения в университете мне не удалось, и я интенсивно занялся изучением национал-социализма только в период моей работы учителем гимназии, что стимулировалось преимущественно ожиданиями моих учеников.

*А. С.:* Иногда высказывается мнение (с которым лично я не согласен), что в дидактику приходят те, кто не смог заниматься исследовательской работой. Каковы были Ваши обстоятельства?

*Й. Р.:* Своим приходом в дидактику истории я обязан преимущественно 12-летней деятельности в качестве учителя гимназии и руководителя рефендариа (практики. – А. С.) в системе политического образования. Во время учебы в университете я вообще не соприкасался с дидактикой, хотя первый импульс возник благодаря занятиям по педагогике и психологии, особенно психологии обучения и развития, а также теории и истории обучения. Но главную роль сыграла, конечно, моя 12-летняя служба в качестве учителя-штудиенрефендара.

Эта должность требовала знания педагогической антропологии и актуальных вопросов политики в области образования, а кроме того, побуждала к дидактической рефлексии в своих действиях. Работа учителем не только дала мне ценный опыт поведения в различных ситуациях на уроке, но и развила чутье к учебным потребностям учащихся разных возрастов. Особенно мне пошло на пользу то, что я с самого начала был задействован в обучении рефендаров. Я постоянно представлял на экспертизу молодым коллегам собственные уроки, но помимо этого, должен был наблюдать, анализировать и оценивать их уроки, вырабатывая соответствующие критерии оценивания. Такой опыт необходим в дидактике любого предмета.

Краеугольным камнем дидактики истории является «передача» истории и проверка ее восприятия (прежде всего в школе, но также и в университете). Поскольку дидактика истории позволяет сделать проведение урока более эффективным, она относится к кругу дисциплин, обязательных для обучения будущих учителей истории.

Преподаватель дидактики истории, который не может опереться на собственный опыт проведения уроков, не сумеет выполнить свою задачу действительно хорошо. Кроме того, он должен регулярно руководить школьной практикой студентов. Это позволит ему не отставать от развития школы, знать ее реалии.

*А. С.: Вы являетесь одним из самых известных в мире специалистов в области дидактики истории. Какие темы Вас более всего интересовали и в чем Вы видите главные результаты собственных исследований?*

*Й. Р.:* Исходным пунктом моих исследований стало обсуждение в 1950-е гг. темы обучения на примерах. Особенности истории как предмета требовали выделения основополагающих элементов и принципов, структурирующих этот предмет и позволяющих не потеряться в его пестром многообразии. Не в последнюю очередь речь тогда шла о связи теории истории и дидактики. В последующем возникла дискуссия об учебных целях, которая затем расширилась до прений об учебной программе. Между собой конкурировали два подхода: учебно-теоретический, ставивший во главу угла квалификации и компетенции обучающихся, и подход, ориентированный на предмет и категории исторической науки, целью которого было установление определенных стандартов знаний и умений. Я принадлежал к числу дидактов, стремившихся объединить оба подхода. Свою позицию я обосновал в монографии «Очерки дидактики истории».

Начавшееся в 1970-е гг. обсуждение целей обучения и учебных программ (тогда речь шла о разграничении истории и политики как школьных предметов) в 1980-е гг. переросло в широкую дискуссию о значении источников в обучении, мультиперспективности и дискуссионности, о вопросительно-исследующем обучении, о связи преподавания истории с современностью и будущим, о роли личности и структур, о значении ценностного подхода, но прежде всего об историческом сознании. «Историческое сознание» стало главным понятием немецкой дидактики истории, сохранив этот статус до сего дня.

Я попытался подвести итоги дискуссии и классифицировать все течения в своей главной книге «История и ее дидактика». При этом для меня было важно сохранить равновесие между теорией и практикой, поскольку абстрактная теоретичность грозила вытеснить практические потребности. Усилению данной тенденции способствовало и то, что тема внешкольной подачи и восприятия истории (сегодня это называют «исторической культурой») постепенно выходила на первый план – это весьма отрадное явление, если оно не ведет к пренебрежению школьным уроком.

Когда дискуссия о принципах дидактики истории завершилась, я обратился к проблеме школьного учебника истории – как на теоретическом уровне, так и в плане практической разработки концепции учебника и его подготовки. Эти изыскания пришлись на время, когда исчез тип учебника, в готовом виде дающего школьникам знания, предназначенные для репродуцирования, и была в целом реализована комбинационная модель учебника и рабочей тетради (авторский текст и тексты источников).

Работа над школьными учебниками, с одной стороны, навела меня на новые теоретические поиски, а с другой – позволила проверить теорию на практике в процессе создания множества учебных пособий (а это не так легко, как может показаться с вершин теории).

Написание школьных учебников вынуждает учитывать время урока, которого постоянно не хватает, и устанавливать такой интеллектуальный уровень обучения, чтобы не предъявлять к учащимся ни заниженных, ни завышенных требований. Хороший школьный учебник должен в равной мере давать солидные знания и побуждать учащихся к самостоятельным поискам и оценкам.

*А. С.: Давайте затронем аспект преподавания истории в школе. Какие наиболее важные шаги и тенденции в обучении истории в Германии последних лет Вы можете назвать?*

*Й. Р.:* В ходе дискуссий определились следующие *тенденции*, нашедшие отражение в дидактических исследованиях:

- исследование исторических знаний, умений и взглядов молодежи свидетельствует о значительном отставании школьников от современных требований дидактики и учебных программ. Поэтому требуется сопровождать уроки анализом процессов обучения на микроуровне;

- в продолжающихся спорах о характере исторического сознания преобладает конструктивистская парадигма, в соответствии с которой школьники должны понимать конструирующий характер исторических свидетельств, уметь деконструировать готовые исторические рассказы, а затем пытаться самостоятельно конструировать или реконструировать их;

- наряду с главной категорией «историческое сознание» возникло понятие «историческая культура», охватывающее все проявления истории (как знания о прошлом) в общественном мнении. Оно нацелено на восприятие прошлого и историческую память, что должно найти отражение и на уроках, как новые важные измерения предмета;

- большое внимание в последнее время обращается на связь между школьными знаниями и жизненной практикой. Надо способ-

ствовать тому, чтобы полученные в школе знания не оставались мертвыми, книжными, а находили применение в сегодняшней жизни;

- если раньше дидактическими критериями были по преимуществу рациональность и строгая научность, то сегодня подчеркивается важность эмоций и воображения, которые должны дополнять историческое мышление;

- под влиянием PISA-шока (он был вызван недостаточными знаниями немецких школьников в сравнении с зарубежными сверстниками) началась дискуссия об установлении обязательного и постоянно проверяемого стандарта знаний и результатов во всех школьных дисциплинах и на всех возрастных ступенях. Эта дискуссия может стать возвращением к размышлениям об учебных целях и учебных планах 1970-х гг.;

- долгое время игнорировался тот факт, что Германия стала страной иммигрантов, но именно это, а также стремительно прогрессирующая глобализация привели к возникновению постулата о «межкультурном обучении». Он тесно связан с формированием идентичности, комплексность которой (речь идет о нескольких идентичностях) ставит перед дидактикой истории сложные проблемы;

- в дополнение к прежним требованиям к содержанию урока, продиктованным тем, что он должен соответствовать современному уровню политического и социокультурного сознания (например, отражать социальную историю, историю окружающего мира, историческую антропологию), появились новые темы, которые невозможно игнорировать. Это прежде всего всемирная история, новая культурная история, тендерная история, история дискурса;

- новые, электронные средства массовой информации требуют внимания со стороны дидактов, которые должны постараться найти правильный, срединный путь между некритическим использованием Интернета, CD или DVD и пренебрежением к открывающимся благодаря этим средствам возможностям обучения;

- новую жизнь получили методы преподавания, которые долгое время были в дидактической литературе на втором плане. Речь идет как о постоянном совершенствовании апробированных методов, так и о расширении их круга, например за счет использования визуальных средств массовой информации, проектной работы или презентации результатов деятельности.

В качестве многолетнего ответственного редактора журнала «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht» я постоянно читаю рукописи статей и с давних пор замечаю в них досадные пробелы. Большинство статей посвящено содержательному и методическому планиро-

ванию уроков. Рассказ об их проведении встречается не так часто, не говоря уже о самокритичной оценке. Досадно и то, что практикующие учителя все реже пишут о своих уроках. В этом, на мой взгляд, кроется тревожная тенденция: пропасть между университетскими преподавателями дидактики и учителями школ углубляется, в то время как живой диалог между ними происходит все реже. А без этого научная дидактика истории развиваться не может.

*А. С.:* *Обучение истории всегда имеет политический аспект. Еще Бисмарк сказал, что войну 1870 г. выиграл школьный учитель истории. Насколько сегодня государство в ФРГ вмешивается в преподавание истории? Существуют ли инструменты контроля, гарантирующие степень свободы для учителя?*

*И. Р.:* Опыт тотальной политической инструментализации урока истории в национал-социалистической Германии и в ГДР породил у немецких историков аллергическую реакцию на все притязания государства придать преподаванию истории в университетах и школах определенную политическую и идеологическую ориентацию. Попытки предписывать следование определенным политическим целям и интерпретациям изначально находятся под подозрением и почти единодушно отвергаются учеными и учителями.

Правда, в компетенции государственных инстанций остаются учебные планы, допуск школьных учебников (их выпускают частные издательства), а также общий надзор за проведением уроков и экзаменов. Посредством этого органы управления школьным образованием могут реализовывать свои установки относительно целей и содержания урока, которые, в частности, могут иметь политическую значимость, например: повышенное внимание к истории женщин, европейской интеграции или идее мира, а также требование содействовать межкультурному воспитанию или формированию любви к родине и региональной идентичности.

Не лишено политического смысла и стремление обязать преподавателей следовать определенному педагогическому и дидактическому стандарту, например открытой, симметричной дискуссии или свободному формированию у школьников мнений и оценок.

Позволяет расставлять политические акценты и отбор учебных дисциплин: рассматривать в качестве примера мировой религии ислам либо буддизм или какое место должно отводиться европейскому колониализму? Это вызывает определенное беспокойство, но большинство учебных планов предоставляет учителю возможность выбирать.

Уже при разработке учебных программ применяются правила демократического поиска решений: министерства пользуются услуга-

ми консультативных органов, в состав которых входят специалисты по предмету, в большинстве случаев представляющие все имеющиеся позиции. Впрочем, внимание к этому вопросу со стороны парламента, партий, профессиональных объединений и организаций граждан и, конечно же, средств массовой информации создает надежную защиту от политического манипулирования любого рода.

Все же иногда дело доходит до попыток представителей политической власти избавиться от нежелательных точек зрения и содействовать утверждению желательных (этого нельзя исключить ни при какой демократии). Так, одно земельное министерство образования аргументировало свое неприятие написанных мною школьных учебников следующим образом: нельзя якобы примириться с тем, что я указал на связь действующего министр-президента со штаци. В другом случае был вынесен сомнительный вердикт по поводу предложения: «Как только люди в мыслях обращаются к прошлому, они видят насилие, войну и гибель». По мнению экспертов, оно содержит опасную принципиально пессимистическую позицию и противоречит цели «воспитания миролюбия».

*А. С.: Учитель истории часто сталкивается с проблемой, как сохранить баланс между исторической правдой, которая не всегда приятна, и необходимостью воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. Существует ли такого рода проблема в Германии?*

**Й. Р.** Может ли «историческая истина» – какой бы спорной в отдельных случаях она ни была с точки зрения теоретико-познавательных ограничений – вступать в конфликт с педагогически и политически желательными целями? Как ученый-историк я хотел бы дать на этот вопрос категорически отрицательный ответ. Нет такой причины, которая могла бы оправдать искажение исторической истины ради каких-то высоких ценностей.

Жесткие действия турецких властей в отношении тех граждан, которые признают факт резни армянского населения, устроенной турецкими военными во время Первой мировой войны (а это установленный исторический факт), являются возмутительным примером проводимой государством политики, которая беззастенчиво игнорирует неудобные для себя результаты исторических исследований. Это скандальное обращение с историей встретило острейшее неприятие со стороны мирового научного сообщества.

Есть и менее однозначные вопросы, при ответе на которые наука и правомерный политический интерес могут вступать в противоречие. Преступления нацизма вызвали у предшествующего поколения немцев столь резкое неприятие новейшей истории собственной нации, что на этой почве возникло такое явление, как «негативный национа-

лизм». Он проявляется в том, что под сомнение ставятся даже такие основополагающие для истории немецкой нации явления, как, например, пруссачество, бюргерские добродетели, лютеранская доверчивость по отношению к государству, скепсис по поводу Просвещения.

Наиболее ярким проявлением этого негативизма стало заявление Гюнтера Грасса, сделанное им в 1990 г. Будущий лауреат Нобелевской премии в области литературы сказал, что содеянное в Освенциме означает разрыв немецкого народа с цивилизацией и лишает его права на национальное единство. Разумеется, соотечественники писателя в большинстве своем не могли с этим согласиться.

В данном случае проблема носит фундаментальный характер, и ни наука, ни политика, ни педагогика не вправе что-либо диктовать обществу. Но, пожалуй, все три эти института имеют право и обязаны содействовать обсуждению этой проблемы независимо от того, будет ли достигнут консенсус или нет.

*А. С.: Как Вы полагаете, существуют ли национальные модели обучения истории? Каковы их характерные черты? Можно ли говорить о единой европейской модели? Вы много раз бывали в России и имеете представление о том, как преподают историю в наших школах и как ведется подготовка учителей. Как Вы оцениваете то, что видели, и каковы наиболее существенные отличия от Германии, если они есть?*

*Й. Р.:* Несомненно, есть специфический национальный стиль проведения урока. Например, немецкий и французский уроки истории различаются тем, что во Франции большее значение придается объемному – в позитивистском духе – знанию фактов, понятий, событий, в то время как в Германии культивируется обучение методам и навыкам самостоятельного обращения школьников с историческими источниками. В Восточной Европе предпочтение отдается национальной истории, в Нидерландах и Скандинавии чаще обнаруживаются космополитические и транснациональные подходы. Пожалуй, было бы ошибочно говорить о единой европейской модели урока истории, но с некоторых пор предпринимаются шаги по конвергенции дидактических принципов, что находит выражение в институциональном сотрудничестве национальных объединений учителей истории и в деятельности Международного общества историков-дидактиков (оно издает собственный ежегодник). Активно проводимые в Европе исследования в области исторического сознания молодежи позволили выявить поразительно схожие сильные и слабые места, предпочтения и антипатии, а также характерное различие между Востоком и Западом (национальные *versus* наднациональные взгляды).

В российских школах и университетах, а также на курсах повышения квалификации учителей мне бросилось в глаза, что учителя в большей мере, чем их коллеги в Германии, руководят уроком. То, что говорит учитель, в России имеет больший вес и значение, чем в ФРГ, где школьников и студентов постоянно побуждают высказывать свое собственное мнение. В России доминирует учитель, в Германии – партнерские отношения. Но, как представляется, в современной России происходит известное изменение педагогического климата, особенно в системе обучения учителей. Студенты все больше стремятся высказывать свою точку зрения и вступать в диалог с профессорами. У них возникает потребность работать с историческими источниками, они все больше отходят от некритичного восприятия текста учебника как несомненной истины. По всей видимости, эти изменения вызваны сменой поколений: те, кто моложе, более охотно следуют новой парадигме, в то время как представителям старшего поколения нередко трудно избавиться от отпечатка, наложенного догматической советской системой образования.

*А. С.: Один из наиболее дебатлируемых вопросов в последние годы в России – это школьный учебник. Кто лучше готов к написанию учебника: историк, дидакт или школьный учитель? Американский автор Дж. Ловен пишет о «тирании учебников», это то понятие, которое я в большой степени отношу к российской системе обучения истории. Какое место, по Вашему мнению, должен занимать в преподавании школьный учебник? Какие альтернативные пути можно рекомендовать учителям?*

**Й. Р.:** Можно выделить пять типов школьных учебников:

- учебник, который излагает историю в виде наглядных, живых и интересных, большей частью персонифицированных рассказов, адресованный преимущественно школьникам младшего возраста;
- учебник, из которого школьники берут готовое, предназначенное только для репродуцирования знание;
- рабочая тетрадь, представляющая разного рода материалы, на основе которых школьники во многом самостоятельно должны получать знания;
- комбинированный с рабочей тетрадью учебник, соединяющий преимущества обоих типов (солидные базовые знания и самостоятельную работу с источниками) и компенсирующий их слабости;
- программирующий учебник, который позволяет школьникам идти разными путями обучения. Этот крайне редко встречающийся тип учебника сегодня находит своего преемника в форме компакт-диска, который содержит мультимедийные материалы и позволяет адресатам найти различные пути решения поставленной задачи.

Преимуществом коммуникативного средства обучения является то, что при его использовании обучающиеся сталкиваются с многообразными проблемными ситуациями и, используя огромный массив информации, в процессе поиска решения могут тренировать свои умения. Думаю, значение этого вида учебника в будущем должно возрасти. Впрочем, пальму первенства, несомненно, следует отдать комбинированному учебнику: он соединяет в себе как рецептивные и активные, заранее отструктурированные методы обучения, так и такие, которые надо открывать самостоятельно; побуждает учащегося к самостоятельному критическому использованию различной информации; формирует фундаментальное понимание конструируемого характера исторической науки, дающей не раз и навсегда установленное «объективное» знание, а лишь различные по своей значимости и убедительности толкования истории, которые не всегда можно однозначно классифицировать как «неверные» или «правильные».

Идеальный автор школьного учебника должен знать предмет на уровне профессионального историка, владеть принципами, категориями и методами проведения урока не хуже квалифицированного университетского специалиста по дидактике, а также обладать чутьем опытного учителя, понимать потенциал, интересы, способности, характерные трудности обучения школьников разных возрастов в различных типах школ. Как ученый он отвечает за содержательную точность и репрезентативность книги, как дидакт – за уместную с точки зрения педагогики связь между содержанием предмета и образовательными и жизненными потребностями молодых людей, как школьный практик – за современный стиль обучения и профиль требований.

Конечно, в реальности такой универсальный талант встречается редко. Заменой ему может стать сотрудничество нескольких авторов, которые консультируются между собой и, обладая различной квалификацией, дополняют друг друга. Необходимо также апробировать проекты учебников в нескольких школьных классах и соответствующим образом переработать их. Желательно, чтобы между всеми участниками процесса создания учебника – авторами, учителями, а по возможности и школьниками – существовал регулярный обмен мыслями. Кое-что делают в этом направлении специальные журналы, публикующие рецензии на учебники. Но мы, к сожалению, еще очень далеки от живого диалога.

*А. С.: Недавно я проводил встречу своих студентов с группой студентов факультета истории университета Билефельда и не был особенно удивлен тем, что немцы в большой степени готовы связать свое будущее с учительской профессией. Насколько, по Вашему мне-*

*нию, привлекательна профессия учителя истории в Германии? Не теряет ли сегодня профессия историка престиж в обществе?*

**Й. Р.:** В течение нескольких десятилетий ситуация на рынке образовательных услуг свидетельствовала о неверности подобных прогнозов. Если во время образовательной экспансии 1960-х гг. учителя были востребованы, то через 10 лет многие выпускники-историки оказались без работы, на улице. Потом конъюнктура изменилась вновь, и в некоторых, прежде всего естественнонаучных, дисциплинах возникла нехватка учителей. В ближайшие годы у молодых учителей (за исключением преподавателей некоторых дисциплин) будут все шансы получить работу. Кажется, мир понял, что в эпоху глобализации и общемировой конкуренции инвестиции в образовательную сферу обещают наибольшую прибыль и хорошо образованное поколение («человеческий капитал») является лучшей гарантией успешного будущего.

Ввиду сравнительно небольшого количества учащихся, изучающих историю (в Германии она не преподается в обязательном порядке от первого до последнего года обучения), потребность в учителях истории значительно уступает потребности в учителях немецкого и английского языков и математики. Поэтому студенты-историки поступают правильно, выбирая в качестве второй специальности одну из этих дисциплин. В общественной и культурной жизни ФРГ история занимает достаточно видное положение. В общественных дискуссиях историки играют пусть и не ведущую, но весьма заметную роль. Доля исторических книг на книжном рынке профессиональной литературы значительна, а успехи продаж говорят сами за себя. Во всех университетах история пользуется большой популярностью. Широкий интерес к истории выражается, в частности, и в том, что участники программы обучения для пенсионеров выбирают именно этот предмет.

Будущее этой дисциплины не вызывает беспокойства. Историческая наука новаторски проявила себя в открытии новых, интересных полей, таких как новая культурная история, историческая антропология. Она пытается ликвидировать пропасть, которая разверзлась между стилем мышления и письма ученых и потребностями широкой публики в образовании и развлечениях. Историки регулярно публикуются в газетах и выступают консультантами в радио- и телепередачах.

Необходимость преподавания истории в средней и высшей школе, важность этой науки в общественной жизни никто не ставит под сомнение. Будущее немислимо без прошлого, и тот, кто игнорирует изучение истории, обречен вновь и вновь совершать одни и те же ошибки.

## ИНТЕРВЬЮ С ХЕЙДЕНОМ УАЙТОМ<sup>1</sup>



12.07.1928 – 05.03.2018

**Ответы на вопросы, заданные Хейдену Уайту А.Б. Соколовым<sup>2</sup>, были получены в марте 2005 года.**

**Андрей Соколов:** *Как Вы полагаете, какие обстоятельства, связанные с Вашим происхождением, взрослением и образованием, имеют значение для понимания Ваших идей и интересов?*

**Хейден Уайт:** Как мне кажется, принципиальное значение имеет то, что я родился на Американском Юге накануне Великой депрессии, которая еще больше разорила уже разоренный район моей страны и вынудила мою семью покинуть его в поисках работы на автомобильных заводах Детройта, в Мичигане. Это значит, что я получил возможность учиться в хорошей школе в годы своего взросления. Когда я подросток, я убедился в важности рабочего движения и

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в журнале «Диалог со временем» (2005, вып. 14).

<sup>2</sup> Андрей Борисович Соколов – доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

в том, что капитализм должен быть под контролем, потому что, если его не регулировать, он порождает жадность и жестокость на рынке, а затем и во всем обществе. В старшей школе я стал убежденным социалистом и с тех пор остаюсь человеком левых убеждений. Для меня величайшим разочарованием стал провал рабочего движения, поражение социализма и триумф бесконтрольного капитализма в Соединенных Штатах.

*А. С.: Что подтолкнуло Вас к тому, чтобы посвятить жизнь изучению прошлого?*

*Х. У.:* Я был вовлечен в изучение истории, когда обучался в колледже, прекрасным учителем, человеком который учил нас, что история – это драматический конфликт идей, социальных движений и поиск смысла. Меня привлекла европейская история XIX века, потому что это был период революции и реформы, роста либерализма и социализма, в то же время еще наполненный утопическими мечтами. К сожалению, я пришел в профессиональную историю тогда, когда она заключала свой (разрушительный) союз с социальными науками, превратившись в то, во что она превратилась в 1950-е годы.

*А. С.: Какова была тогда интеллектуальная атмосфера? Кто тогда доминировал? Оценивали тогда современники их так же, как это делается сейчас?*

*Х. У.:* Сразу после второй мировой войны исторические исследования стали ареной конфликта между интеллектуальной и социальной историей. Исторические исследования были профессионализированы и превращены в академическую дисциплину, что, конечно, грозило гибелью для воображения, интеллектуализма было попыткой использовать изучение прошлого для критики настоящего. Это был период маккартизма, холодной войны и страха перед “коммунизмом”. Я оставался верным левой идеологии, и это делало меня чем-то вроде чудака для моих коллег, большинство из которых были центристами-либералами или консерваторами и традиционалистами. Но я не страдал за свои взгляды. Фактически моя карьера была очень увлекательной. И мне нравится обучать молодых и работать со студентами.

*А. С.: Не могли бы Вы немного рассказать о своем образовании? Кто из учителей особенно повлиял на Вас? Какие курсы имели особое значение? Как Вы полагаете, в целом, какое место должна занимать в подготовке историков филология?*

*Х. У.:* Я думаю, что отход исторических исследований от филологии и упадок филологии в литературных исследованиях сказывается самым неблагоприятным образом. Историки должны не только знать много языков, но и рассматривать язык как главный источник

для понимания “ментальности” периода, общества, культуры. Более того, до тех пор, пока историки будут продолжать использовать письменные документы (и образы) для изучения прошлого (и настоящего), подготовка в области сравнительной лингвистики, грамматики и синтаксиса совершенно необходима для сложного компаративного анализа. История исчерпала себя как гуманитарная дисциплина тогда, когда увлеклась социальными науками, которые, в свою очередь, были зачарованы моделью естественных наук – результатом стало то, что и социальные науки, и история утратили связь с главными этическими, эстетическими и политическими программами, которые они, как предполагалось, должны были изучать, критиковать и продвигать. Отвечая на предыдущий вопрос, я отметил учителя, который воодушевил меня. Его звали William J. Bossenbrook, профессор истории в Wayne State University в Детройте. Именно он указал мне на связь между историей, философией, литературой и политикой в великой традиции модернистской историографии.

*А. С.: Как бы Вы описали самые важные тенденции в изучении прошлого за последние пятьдесят лет? Если бы Вы составляли список из 5-6 человек, оказавших наибольшее влияние, кого бы Вы включили и почему?*

*Х. У.:* Я думаю, что самым важным в изучении прошлого за последние пятьдесят лет стало признание, что литераторы, романисты, поэты и очеркисты, работавшие в главной традиции XIX века – традиции “реализма”, говорят нам о прошлом и об отношениях между прошлым и настоящим больше, чем на это могут надеяться большинство историков. Поскольку историки отделились наивной категорией “объективности”, то утратили поэтический момент, который необходим, чтобы иметь дело с такими феноменами, как “отсутствие”, “утрата” и смерть. Психианализ, как и литература, имеет дело с этими категориями через воображение, а иначе и быть не может, потому что ими нельзя оперировать научно. Что может сказать нам наука о смерти? Об утрате? Об отсутствии? Характерно, что до попытки превратить историю в некое подобие науки именно такими вещами она и занималась. История – это, по определению, о мертвых, или, как сказал Хайдеггер, «об однажды живших». Такие вещи можно постигать только через воображение. Психианализ предвосхитил историографию в ее современной фазе в своей попытке иметь дело с такими категориями научно. Его неудача должна быть для истории поучительной. Но об историках можно определенно сказать одно: они очень мало что усваивают от изучения истории, особенно истории собственной дисциплины. Для меня ирония состоит в том, что историки

часто критически изучают эволюцию других дисциплин, таких, как социология, политическая экономия, право, философия и т.д. Но, когда дело доходит до собственной дисциплины, они предпочитают писать о ней в прославляющем духе, создавая “триумфалистские” отчеты о развитии историописания, согласно которым оно становится все лучше и лучше от Геродота к Ф. Броделю, а современное состояние профессии всегда рассматривается как высшее достижение. Так или иначе, они оказываются не в состоянии историзировать собственное настоящее, которое и служит им отправным пунктом в изучении истории своей профессии. Говоря откровенно, думаю, что моя книга «Метаистория» (1973) вызвала (маленький) переполох только потому, что я рассмотрел тексты историков как литературу и применил современные теории текста и письма, чтобы раскрыть глубинный смысл рефлексии историка. Большинство историков, рефлексировав по поводу своего ремесла, склонны игнорировать вопросы стиля, риторики и поэтики, рассматривая стилистические аспекты как чисто декоративные и не имеющие отношения к пониманию способа, которым текстуализация и письмо генерируют значение, а не только передают его.

*А. С.: Одну из самых ярких вещей в методологии истории последних десятилетий называют постмодернизмом. В моей стране постмодернистские идеи, равно как и сам термин, часто негативно встречаются историками. С другой стороны, есть мнение, что в этой категории и вовсе нет смысла. Что Вы думаете о постмодернизме: это что-то реальное? Что Вы чувствуете, когда говорят, что Вы одна из классических фигур в постмодернистской историографии?*

*Х. У.:* Термин “постмодернизм” пришел в английский от архитекторов и историков архитектуры, которые использовали его для описания архитектуры, шедшей вслед за “модерном”; сторонники этого международного стиля (Corbusier), Bauhaus, and Frank Lloyd Wright. В литературе этим термином обозначается вид письма, появившийся после “модернизма”, который создали Proust, James, Pound, Eliot, Joyce, Woolf and Stein. И в архитектуре, и в литературе постмодернизм отвергал иерархию стилей, означал слияние “поп-культуры” и “высокой” культуры, применение “коммерческого” и особенно “рекламного” стилей, ироническое или пародийное использование исторических или традиционных мотивов и т.п. Frederic Jameson настаивает на том, что постмодернизм носит “антиисторицистский” и “антиисторический” характер, поскольку отрицает доверие к прошлому, а также традицию рассматривать его как средство предвидеть будущее; в постмодернизме выражен интерес к «фрагменту» (как у ранних представителей немецкого романтизма), мозаичному (в противовес «органической»

форме), склонность к кинематографичному (в противовес жанру романа) воплощению движений, изменений и трансформаций в социальной и психологической жизни. Кроме того, в политической философии и, конечно, в философии в целом, постмодернизм означает нечто вроде отрицания как функционализма, так и традиционализма, и воплощает поворот к «ситуационным» (и прагматическим) идеям в этике, эстетике и даже метафизике. Я не имею ничего против того, чтобы меня называли “постмодернистом”. Я пытаюсь найти свой путь за пределами ограничений культурного модернизма (с одной стороны, Picasso, с другой, Mondrian), и я ощущаю, что исторические исследования сегодня могут быть поставлены на современный уровень путем привлечения внимания к тенденциям развития в таких областях, как неориторика, лингвистика, синематика и т.д., которые выработали более успешные способы обращения к тому, к чему обращаются или хотят обращаться историки. Следует помнить: исторические исследования сами имеют историю, которая, можно сказать, подвергается изменениям, вытекающим из новых “исторических” ситуаций. Сейчас есть немало “экспериментальных” или авангардистских исторических работ, многие из которых публикуются в британском журнале *Rethinking History*. Более молодое поколение историков по всему миру – от Ewa Domanska в Польше, Sorin Antohi в Венгрии, Claudio Fogu в Италии, Keith Jenkins в Великобритании до Todd Presner и Andrew Baird в США – экспериментирует с использованием повествовательных технологий для репрезентации “модернистских” событий, подобных которым невозможно было представить; тем более, их не смогли бы адекватно выразить те, кто писал историю сто лет назад. Я говорю о таких событиях, как атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, бомбардировки Гамбурга и Дрездена, Холокост, демографический взрыв, загрязнение окружающей среды в мировом масштабе, высадка на Луне и т.д. Немецкий писатель W.G. Sebald в работах “Austerlitz” и “Luftkreig und Literatur” разработал техники описания, лучше подходящие для репрезентации таких событий, чем что-либо из того, что историки могли предложить на основе своей привязанности к концепции точной “истины” и традиционного видения “объективности”.

*А. С.: Возможно, Ваша статья «Бремя истории» (1965) содержала первый серьезный вызов истории и подвергала пересмотру традиционное понимание истории как одновременно науки и искусства. Для Вас история – не социальная дисциплина, а гуманитарная (как философия и литературоведение). Идея не является совершенно новой. Она, в частности, обсуждалась в начале XX в. Почему Ваши взгляды*

*встречали серьезную критику на протяжении всей Вашей карьеры? И что помогало преодолевать эту критику и развивать свои идеи?*

**Х. У.:** Я не уверен, но «Бремя истории» было опубликовано как раз в то время, когда у меня в стране, как и в Германии, были вынуждены заняться проблемой историографии Холокоста. Холокост заставил поднять вопрос о природе и этике репрезентации, описания, нарративизации, построения сюжета серии событий. Это событие показало, что просто объективное или квантитативное, или “фактологическое” описание того, что случилось в определенные ужасные времена (в этом Холокост напоминает такие события, как голод среди украинцев в 1920-х гг., маоистскую культурную революцию, геноцид в Руанде, сталинские чистки и т.д.), не работает. Когда обращаешься к историческому рассмотрению таких событий, относительно легко установить, *что произошло*. Что, однако, желательно – иметь одно или несколько описаний, позволяющих *почувствовать, как это было*, выполненных подобно историческим романистам XIX и XX вв. В духе такого подхода пишут некоторые постмодернистские историки, такие, как Simon Schama, стремясь импортировать “художественные” (fictionalizing) техники в свои истории. Чтобы убедиться, что в этом нет ничего нового, достаточно вспомнить, как писали Жюль Мишле, Якоб Бурхардт или Йохан Хейзинга в прежние времена. Но в наше время такое применение художественных, риторических или поэтических техник рассматривается как нарушение предназначения истории быть или стать “научной”. Кроме того, проявление историками литературных талантов угрожает “засушенным” (dry-and-dust) методам, выдвигаемым профессиональными историками, которые ошибочно принимают “буквализм” за “объективность”, а обезличенный прозаический стиль за научную серьезность.

**А. С.:** *В своей классической «Метаистории» Вы утверждаете: чтобы понять работы историков важно не столько понять их “исторические” аргументы, сколько, прежде всего, формы презентации. Другими словами, историк должен действовать преимущественно как литературный критик. Многим это кажется опасным, потому что (как они думают) история теряет свой специфический предмет исследования и не может рассматриваться как инструмент понимания реальности. Как Вы отвечаете на аргументацию такого рода?*

**Х. У.:** Прежде всего, Ваше утверждение, что историк должен действовать как литературный критик, не вполне корректно. Аргументы историков важны, но они должны больше основываться на здравом смысле, чем быть научными, и они должны излагаться в форме нарратива, а не в форме логической демонстрации. Все дебаты по

поводу законов истории, протекавшие в течение двадцати пяти лет после появления работы Поппера “Poverty of Historicism” (1942) завершились признанием того, что в интерпретациях историками событий прошлого очень мало объясняющей силы – в точном научном смысле. Итак, что они делают, когда приступают к “объяснению” того, что произошло в прошлом? Любопытно, что все они, от Геродота и до Гуревича, больше описывают события, структуры и процессы, чем объясняют их на основе каузальных аргументов. Как затем мы читаем работы, написанные историками? Какие существуют способы читать работы историков, в том числе написанные не только в наше время, но и в прошлом? Интеллигентные образованные читатели или непрофессиональные потребители не нуждаются для этого в инструктировании. Но мы-то говорим о том, что профессиональных писателей исторических книг читают, оценивают и критикуют другие профессионалы. Современные концепции текстуализма и литературной критики показывают, что есть способы чтения, когда игнорируется “вместилище” дискурса; когда сразу схватывают “аргумент” или “фактологическую основу” и совсем не обращают внимания на дополнительное (коннотативное) измерение этого дискурса, в котором “производится” некий смысловой слой, “окрашивающий” или придающий эмоциональную силу тем событиям, о которых сообщается в “буквальном” измерении этого текста. Проблема, следовательно, в том, как сравнить, сопоставить или другим образом соотнести буквальный и фигуральный уровни текста. Любое описание реальных событий есть аллегория, во многих случаях мифическая по характеру, а во многих других – скорее “литературная”. Когда историк располагает события в той последовательности, которая соответствует форме и, следовательно, значению “трагедии”, он не столько представляет “аргумент”, сколько предлагает “презентацию” морального или этического значения этих событий. Историки, которые не желают “нарративизировать” события прошлого, а хотят только “сообщать” то, что нашли в архивах “о том, что случилось в прошлом”, делают нечто отличное от того, что историки делали столетиями, “рассказывая некую историю”. Рассказывание добавляет что-то к событиям, о которых идет речь. Как мы характеризуем это добавленное что-то? Одно из главных достижений “текстологии” XX века – усложнение чтения. Литературные критики внесли в это свой вклад. Но то же сделали и специалисты в области лингвистики, неориторики, поэтики, антропологии и др. Было бы глупо нам, профессиональным читателям, не использовать тех преимуществ, которые предоставили эти достижения, и продолжать упорно придерживаться понятия письма, унаследованного от XIX века.

*А. С.: Не могли бы Вы кратко описать, как развивали свою концепцию в последующих трудах? В целом, можно ли сказать, что лингвистический поворот стал лингвистической революцией в современной историографии?*

**Х. У.:** Я думаю, что термин “лингвистический поворот” неверен. Я бы предпочел “дискурсивный поворот”, если уж обозначать какие-то повороты. Я полагаю, что главное, что я высказал в «Метаистории», “Tropics of Discourse”, “Figurative Realism” и в “The Content of the Form”, это то, что историография – не столько (научная) дисциплина, сколько дискурс. Конечно, это определение развивал Фуко, и оно подчеркивает различие между подлинным научным исследованием и той областью познания, в которой предмет не только постоянно меняется – его вообще трудно определить. В определении предмета истории трудность идентификации вытекает из того, что “история” не только указывает на некий референт, но также и приписывает некоторую ценность. Когда мы говорим: быть в истории, иметь историю, быть субъектом истории и т.д., то имеем в виду процесс, к которому имела доступ только относительно малая часть человеческих существ. Поэтому “историческое” рассмотрение того или иного феномена подразумевает, что этот феномен не только “существенен”, но и содержит ценностный смысл. Исторические исследования всегда были частью дискурса «прославления»: то воспевая, то умаляя, как поворачивалось дело, – а это в такой же степени связано с установлением фактов, как и с приданием им положительной или отрицательной ценности дискурсивными средствами.

*А. С.: Каково Ваше мнение о том, можно ли сегодня говорить о национальных историографиях. Если существуют американская, германская, британская, французская и т.д. историографии, то каковы их специфические черты?*

**Х. У.:** Это хороший вопрос, потому что деление исторического дискурса на национальные традиции подтверждает, что ни в каком серьезном смысле история так и не стала наукой. Существует представление, что историк должен быть космополитичным, глобальным, универсальным; но фактически, в конечном счете, он оказывается националистичным. Это все равно, как в литературоведении, где прогресс должен достигаться за счет сравнительного анализа разных языков, но, наоборот, оно организуется по линиям разных национальных языков. Исторические исследования были космополитичными до того, как возникли национальные государства в Европе, и постнациональная эра настоятельно требует от историков поторопиться с теорией “глобальной истории”. Что касается национальных исторических

традиций, здесь вполне подходит французский пример. Большинство французских историков интересуются только историей Франции, которую они склонны рассматривать как образец истинно “исторической” системы. Такими же ограниченными являются и большинство других национальных традиций. Если б кто-нибудь захотел преодолеть границы национальных историографий, то он должен был бы предложить новую философию истории. И это было бы фатальным. Историки склонны думать, что философия истории – это ошибка.

*А. С.: Вам приходилось много учить и в разных местах. Хотелось бы спросить о двух аспектах Вашего опыта как преподавателя. Во-первых, как в случае с историографией, помогает ли она понимать разные культуры? Во-вторых, каковы любимые приемы, которые Вы используете на лекциях или семинарах (я помню Ваши прекрасный комментарий о функции анекдота в процессе обучения).*

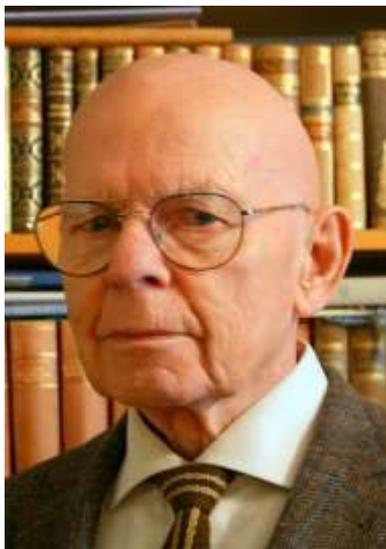
*Х. У.:* Я не вполне понимаю этот вопрос, но попробую ответить. Помогает ли историография понимать различные культуры? Конечно, если рассматривать ее как любой вид дискурса о прошлом или об отношениях между прошлым и настоящим. Припомним: история – это западное изобретение. Не все культуры взрастили “исторический” подход к изучению прошлого, и, следовательно, история не является культурной универсалией. Итак, различные способы, с помощью которых в разных культурах обсуждается взаимосвязь между прошлым и настоящим, сообщают нам что-то о том, как организована та или иная культура или как она осмысляет преходящие обстоятельства или свою судьбу. Можно быть уверенным, что история была экспортирована в те культуры, которые первоначально ее не имели, таким же образом, как христианство и капитализм – но совсем не так, как современные естественные науки. История никак не может считаться наукой в том же смысле, что химия или физика. Не каждый в ней нуждается, и, возможно, многим людям она наносит ущерб. Нельзя думать, что если история обслуживает, или может показаться, что обслуживает, наши потребности, то она нужна всем.

Что касается методов обучения, я использую все, что под рукой, и из любой дисциплины. Цель не в том, чтобы наполнить студентов информацией, а в том, чтобы воодушевить их пойти в библиотеку, посмотреть фильм или видео, прочитать книгу, находящуюся где-то за пределами их интересов. Обучение – это риторическая операция. Я делаю все, чтобы студенты не заснули, чтобы в них пробудился интеллектуальный интерес к истории, чтобы убедить их, что знания необходимы для их спасения как индивидуумов.

*А. С.: В одном из недавних российских учебников по историографии автор назвал Вас “гуру” постмодернистов (между прочим, мне кажется, это – прекрасный пример того, как ирония “приоткрывает” позицию автора в современной дискуссии о функциях истории, несмотря на заявленное намерение быть “объективным”). Но серьезно, могли бы Вы назвать своих учеников или последователей? Что это значит для Вас: быть лидером или одним из немногих лидеров в историографии?*

*Х. У.:* Я не думаю, что я гуру чего бы то ни было. Я – учитель, стремящийся быть интеллектуалом. Я полагаю, что в современном преподавании есть конфликт между интеллектуальными и академическими интересами. Я – учитель, стремящийся быть интеллектуалом, чтобы помочь людям разобраться не только с информацией, но также и со своими ценностями. Я не пытаюсь навязать студентам свою позицию. Я думаю, что роль учителя в том, чтобы помочь студентам обрести собственные голоса и научиться мыслить самостоятельно, а не сделать их маленькими чревовещателями взглядов своих профессоров. Это особенно относится к гуманитарной сфере, где вообще быть не может ортодоксии мнений или идеологии, а только открытая дискуссия и поиск новых способов проникнуть в загадочные, в конечном счете, материи. Так что я не являюсь и не стремлюсь быть “лидером”. И на самом деле, я сейчас гораздо менее заинтересован в изменении академического или профессионального историописания (которое в любом случае дискредитировано, и не только в России после 1989 г., но и в Америке), чем в воссоединении историографии с техниками культурного производства, более близкими к искусству и литературе, чем к социальным наукам.

## ИНТЕРВЬЮ С РОЛЬФОМ ТОШТЕНДАЛЕМ<sup>1</sup>



*Р. Т.* – Рольф Тоштендаль

*Т. Т.-С.* – Тамара Тоштендаль-Салычева

*Т. Т.-С.: В XX в. достижения в области естественнонаучного знания снискали огромный авторитет ученым этого направления. Одновременно возрос интерес и к гуманитарным дисциплинам. Одна-*

---

<sup>1</sup> Рольф Тоштендаль (Rolf Torstendahl), род в 1936 г., ординарный профессор Стокгольмского университета (1978–1980), Уппсальского университета (1981–2001). Был первым ответственным редактором англоязычного исторического журнала стран Северной Европы (Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии) ”Scandinavian Journal of History”, научным руководителем Шведской коллегии высших исследований в области социальных наук (SCASSS). Академик Шведской королевской академии литературы, истории и древностей, Европейской академии, Норвежской академии и Уральского отделения РАН. Автор одиннадцати монографий, и в том числе – вышедшей в русском переводе «Профессионализм историка и историческое знание» (Москва: Новый хронограф, 2014)

*Беседу вела Тамара Тоштендаль-Салычева, почетный доктор Уппсальского университета, директор Российско-шведского учебно-научного центра РГГУ.*

*ко еще в прошлые века были ученые, ставившие под сомнение научную природу гуманитарного знания. А как бы ты ответил на вопрос, является ли история наукой?*

**Р. Т.:** Я решительно полагаю, что существуют по-настоящему научные работы по истории. Однако это не означает, что всё, что именуется «историей» является наукой. Во-первых, история – это все, что имело место или существовало в прошлом, и в этом случае речь идет не о науке, а именно о «прошлом». Во-вторых, естественно, что не все работы, которые в какой-то степени касаются прошлого (или по крайней мере претендуют на это) являются научными. Огромное количество такого рода работ на самом деле представляют из себя всего лишь обобщенное изложение предпринятых ранее попыток описания того же самого события в прошлом, а некоторые из них и вовсе строятся на предположениях и догадках.

Применительно к научным работам о прошлом должна существовать возможность выдвигать к их авторам требование систематического использования ранее появившихся материалов по изучаемой тематике. Точно так же, как не все книги, речь в которых идет о физических явлениях, относятся к науке под названием физика, не всё, что касается «истории», есть наука, хотя сами по себе работы могут быть интересными. По тому же принципу, как научная фантастика с помощью терминов, почерпнутых из астрономии и физики, может живо представить читателю микро и макросоставляющие части вселенной, исторический рассказ о судьбах отдельных людей в прошлом может дать насыщенное подробностями описание с использованием психологической и исторической терминологии. Сама терминология еще не делает написанное научным трудом. Для научного труда требуется наличие проблемы, которую автор должен решить (или по крайней мере попытаться это сделать), а также отчет о методах, с помощью которых он старается найти это решение.

Даже в том случае, когда человек является известным ученым-историком, мы должны знать, как он (или она) действовали для того, чтобы можно было признать результат его работы «хорошим» или «достоверным». Автор в данном случае выступает как исследователь. Это означает (для меня лично и для многих других историков-исследователей), что пишущий претендует на то, что он попытается привнести новое историческое знание. Как ученый-физик пытается получить новые данные о какой-то небольшой части физического мира, так и историк стремится к новому знанию о небольшой части прошлого. В обоих случаях это означает, что нельзя революционизировать научно признанное представление о физической картине мира

или развития прошлого с помощью отдельно взятого исследования. Должно быть осуществлено много исследований, а их ценность должна быть признана «научным сообществом», и только тогда революционизирующие новации могут проявиться во всех отраслях науки, включая историю.

*Т. Т.-С.:* Большая часть твоей научной продукции находится в философско-методологическом сегменте. Для тебя всегда важно не только ответить на конкретный исторический вопрос, но и показать генеральную тенденцию, найти общий вектор развития со всей его многогранностью и разнообразием. Можно ли сказать, что теория истории дает ответ на все сложные вопросы?

*Р. Т.:* Теория истории – это жанр, у которого возросли притязания и выросли объемы. Теории истории (совершенно разного типа) имелись уже давно как в форме теории, которая могла бы представить историю лучшего сорта (теория о прошлом), так и теорию, которая указывала бы историкам правильный путь понимания содержания того, что они делали (теория об историческом знании). И прежде существовали историки, желавшие поддержать других историков и помочь им в решении накопившихся сложных вопросов, касавшихся, например, государственных дел в прошлом. Всевозможные философские направления нашли свое отражение в теории истории. Так что нет ничего нового в том, что теория истории может быть претенциозной и в то же время направляющей в разные стороны. К сожалению, теоретические занятия в области историописания привели некоторых авторов к завышенной самооценке. После изучения монографических трудов и материалов ведущих журналов по данной тематике я нахожу, что теоретики теперь практически всегда пишут друг о друге и друг для друга<sup>2</sup>. Это означает, что они крайне редко ссылаются на результаты фактических работ историков, а также не делают различий между справочной литературой, обзорами и учебниками общего плана, с одной стороны, и продуктами исследовательского поиска с амбициями представить новое знание, с другой. Поэтому, когда они высказываются о том, что понимать под «историей», чаще всего это не бывает соотносено с результатами конкретного исторического исследования. Думается, что это не случайность. Авторы историко-теоретических журналов крайне редко обращаются к историку-исследователю, но постоянно ссылаются друг на друга. Они являются сообществом для

---

<sup>2</sup> Я написал пару статей об этом феномене. Одна работа уже вышла в электронном издании журнала Высшей школы экономики «Философия» (том 4 № 3 (2020): Исторический метод), другая – будет опубликована в конце 2020 года в сборнике Российско-шведского центра, издательство РГГУ.

самих себя с собственными правилами и целями, сообществом, которое расположено в стороне от исторической дисциплины.

Поскольку многие историки-исследователи жаждут дискуссий о целях и методах собственной дисциплины, они наверняка приветствовали бы появление дополнительного вклада со стороны специалистов-теоретиков, работающих вне их собственного сообщества, однако при условии, что поставленные на обсуждение вопросы имели бы значение для них тоже, а не только для теоретиков. Но в этом случае теоретики истории должны серьезно воспринимать прошлое наподобие того, как это делали Р.Дж. Коллингвуд и Морис Мандельбаум в середине XX века, хотя они стали более почитаемы за их высказывания по теории, которые ныне мало кто разделяет, чем за то, что они писали по вопросам доказательств в историческом исследовании. Ни один из этих двух авторов не сформулировал понятие о целях и способах историописания, с которым я мог бы согласиться по всем пунктам, но оба оставили интересные наблюдения и аналитические заключения по поводу способа историка исследовать и делать выводы, которые действительно важны для практикующих историков. Именно в этом смысле я полагаю, что современным теоретикам истории в подавляющем большинстве случаев не достает веса и значения для кого-то другого помимо себя самих и своего историко-теоретического сообщества. Теория истории стала искусством ради искусства, а не ради «истории» или научного исторического исследования.

Можно обсудить, что же послужило причиной такого развития. Иоганн Готтлиб Фихте в лекциях 1804–1805 гг. о конституциях того времени делал четкое разграничение между историками и философами. «Согласно Фихте, в то время, как понимание истории у философа сосредотачивается на общем, на том, что не могло быть иначе, историк дает более детальные определения, то есть случайные – говорит о том, что могло быть и по-другому», – писал я в 1964 г.<sup>3</sup> Сейчас мне думается, что у Фихте есть много последователей, не по части основополагающих философских воззрений, но по взглядам на деятельность историков-исследователей, а также по уверенности, что можно с успехом рассуждать об «истории» без того, чтобы отягощать себя исторической эмпирикой.

Я убежден, что теория истории, которой не достает непосредственной связи с тем, что фактически делают историки в своих изысканиях, совершенно не интересна для кого-то, кроме самих теоретиков. Можно провести параллель с тем, как позднее критики думали,

---

<sup>3</sup> Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–1920. *Studia historica Upsaliensia* XV. Norstedts. Uppsala, 1964. S. 24.

что философия Фихте представляла интерес только для него самого и его учеников. Теория истории в той форме, которую она обрела после боев по поводу Карла Г. Гемпеля и его дедуктивной модели для исторических объяснений – с фигурой Хейдена Уайта во главе – означала современный вариант учения Фихте относительно исторической дисциплины. Она не предоставила никакого ответа на вопросы по проблеме исторического исследования.

*Т. Т.-С.: Можно ли говорить, что в результате научных исторических исследований мы получаем истинные знания о том, что имело место в прошлом? И есть ли, по-твоему, в распоряжении профессионального историка такие исследовательские методы, которые позволяют считать добытые с их помощью ответы, убедительными и достоверными?*

**Р. Т.:** Истина – это такое понятие, которое применялось во многих различных легитимных случаях, но которым злоупотребляли тем или иным образом. Противоположным по значению словом является «неверно» или «фальшиво». Достаточно любопытно, что слово «фальшь», “fake news” стало использоваться Дональдом Трампом таким образом, который переворачивает с ног на голову само понятие, ибо то, что он характеризует как “fake news”, мы не без основания считаем правдой. Таким образом, легко злоупотреблять словами «правдиво» и «фальшиво». И все же существуют философы, с полным основанием считающие, что для науки крайне важно отыскивать истину<sup>4</sup>. Однако, это не так уж и просто, во всяком случае не в какой-то из научных дисциплин.

Я прежде говорил и писал, что в связи с тем, что нелегко гарантировать истину, для ученого важно стремиться к тому, чтобы делать «законные» выводы, не обращая внимания на идею истины. После полученных критических замечаний в мой адрес как со стороны историков, так и философов, я понял, что необходимо модифицировать (ограничить, смягчить) мою точку зрения. Несомненно, надо стремиться к поиску истины, но путь к ней обычно требует тщательности по отношению к законности. Это понятие подразумевает, что ученый будет соблюдать признанный научный метод во всех деталях. В отношении историков это означает не только внимание к критике источника и применение методов, релевантных исследуемой теме, но кроме того установление с помощью аналитических процедур, каким образом новое знание, которое хочет представить историк, соотносится с ранее признанным. Чем более «случаен» новый элемент голово-

---

<sup>4</sup> Persson J., Sahlin N-E. Vetenskapsteori för sanningssökare. Stockholm: Fritanke, 2013. S. 263–284.

ломки, тем легче его приспособить к прежнему узору, и тем менее он важен. Кардинально новое знание – например, когда было обнаружено, что то, что считалось торговлей, на самом деле является эксплуатацией с применением насилия, – может иметь большие последствия, которые тоже должны быть проанализированы и доказаны, для того, чтобы результат имел законную силу. Тогда поиск законности (и только с применением последовательного анализа) становится погодней за истиной в рамках этого поля знания.

Часто бывает нелегко показать обоснованность в том случае, если новое знание, которое желательно установить, зависит от труднодоступного или неточного материала, например, как в случае с интервью или устными заявлениями в адрес других исследователей или лиц, непосредственно не связанных с данным изысканием. Таким образом, истина и проблема обоснованности также напрямую связаны с вопросом метода. Обоснованность возникает при использовании принятых методов, однако может быть трудно установить, что является принятым методом в тех случаях, когда речь идет об определенном типе неточных материалов, например, археологического или социально-антропологического характера. Чем больше историческая дисциплина выламывается из традиционных рамок, тем чаще возникают проблемы, неведомые предыдущим поколениям историков. С равной частотой они возникают в исторических исследованиях под влиянием социальной истории, социальной антропологии или этнологии.

Методы, используемые учеными, не становятся менее важными оттого, что историки выходят за привычные границы своей дисциплины. Всегда важно объяснять, какие методы использовались для установления того нового знания, которое желательно привнести в общую массу исторического знания. Сноски в ранних трудах Карло Гинзбурга по микроистории, в особенности в книге под названием «Сыр и черви», очень важны, потому что то, что шокирует в основном тексте, предстает хорошо продуманным в сносках. В некоторых случаях историк путем применения верных методов может, как говорится, показать законность тех выводов, которые он или она хотят сделать. В другом случае историк сам может указывать на все еще остающуюся неуверенность по причине того, что используемый материал не позволяет сделать абсолютно точные выводы. Я, например, хотел показать рост числа инженеров в Европе, но обнаружил, что доступ к всеобъемлющей, подходящей для сравнения статистике только по инженерам не был возможен, ибо статистика отражала численность инженеров только вместе с другими профессиональными группами. Цифры отражали значительный рост, но, вероятно, степень этого ро-

ста не была одинаково высокой для всех включенных в подсчеты групп. Мне пришлось удовольствоваться ссылкой на цифры и подчеркнуть их неточность с объяснением причин этой неточности.

Обоснованность, таким образом, имеет дело не только с окончательно установленным результатом. Она может также классифицироваться и обсуждаться, но в этом случае важно, чтобы сам исследователь четко определял условия, а предполагаемый результат не был лишь догадкой, а имел под собой рациональную причину.

*Т. Т.-С.: В XX веке начался и поныне продолжается процесс дисциплинарного размежевания: политическая история, история ментальностей, интеллектуальная история, макроистория, микроистория, гендерная история и др. И все это в рамках одного предмета – истории. Как этот процесс обогатил историческую науку? А может быть «глобальная история» является новым ответом на все вопросы нашего времени?*

**Р. Т.:** Глобальная история – это новое название, однако историки Европы уже достаточно давно проявляли интерес к истории различных частей мира, как это делал китаец Сыма Цянь еще до начала нашего летоисчисления. Однако тогда под мировой историей понимали все, что эмпирически простирается далеко. Глобальная история нашего времени претендует на совсем другое понимание. Она желает находить связь и взаимодействие между различными частями мира, и данная связь может основываться как на сходном культурном развитии, так и на торговых отношениях. Ученые, безусловно, не едины в определении того, что же составляет сущность глобального, и поэтому их представления довольно сильно разнятся.

Глобальная перспектива в истории очень важна, так как на протяжении столетий история была пленницей национальной парадигмы до того, как в 1960-е гг. начала расправлять крылья новая глобальная история. Национальная парадигма означала, что историки каждой страны писали о том, что имело значение для этой страны – об империи и государстве, и вместе с этим политика и войны оказывались в центре этих работ. Государство стало станovým хребтом, а его учреждения и политики придавали объем изложению. Из-за того, что государство, естественно, имело власть над теми архивами, которые собрали центральные учреждения, оно также могло управлять деятельностью историков и результатами их штудий. Тех, кто не хотел позволить управлять собою, больше привлекало прошлое государств и распавшихся империй, чем история того государства, в котором они жили сами.

Леопольд Ранке нашел другой путь, приведший его к известности. Он получил доступ к архиву бывшей Венецианской республики и

к дипломатическим донесениям, которые были собраны в нем. Это стимулировало автора для производства национальных историй разных европейских стран. Так как в силу других причин Ранке стал центральной фигурой для профессиональных историков, смотревших на него как на образец для подражания<sup>5</sup>, его способ рассматривать государство и нацию получил большой резонанс.

Поворотный момент произошел в 1960-е гг. в связи с ростом левых течений в Западной Европе. Многие ассоциировали себя с марксизмом, но не доктринерским, советским вариантом марксизма, который в то время бытовал не только в СССР, но и в коммунистических странах Восточной Европы. Западноевропейский вариант давал сторонникам марксизма свободу в истолковании этого учения. Новая глобальная история обрела при этом свободу в двух вариантах: теория зависимого развития стран Латинской Америки, сформулированная Андре Гундером Франком (André Gunder Frank), с одной стороны, и немного позднее – мир-системная теория торговли, сформулированная Иммануилом Валлерстайном (Immanuel Wallerstein) и основанная на идеях Фернана Броделя. Это послужило стартовой площадкой для глобальной истории, которая поначалу появилась в размытых формах национальных историй, а затем, после несколько вялого старта, стала постоянно растущим жанром революционизирующего характера.

**Т. Т.-С.:** *Что ты имеешь в виду, когда говоришь о революционизирующей роли исследований по глобальной истории? Что сделало глобальную историю революционизирующей?*

**Р. Т.:** Во-первых, не одна глобальная история революционизировала исторические исследования, надо помнить как минимум еще о трех других не менее революционизирующих перспективах: социальная история, микроистория и гендерная история. Все возникли или оформились, как и социальная история, в 1960-е гг. и все частично развивались под влиянием марксистской левой волны, о чем я упомянул ранее. Все четыре направления (вместе с глобальной историей) развивались также в прямом противоречии по отношению к ограниченной национальной и государственной перспективе, которая доминировала ранее<sup>6</sup>.

Общее между этими четырьмя направлениями состояло в том, что они взбунтовались против того, что интересы истории оценивались, исходя из государственных и политических шаблонов. При этом

---

<sup>5</sup> Об этом я написал в книге: *The Rise and Propagation of Historical Professionalism*. New York & London, Routledge. 2015, pp. 258.

<sup>6</sup> Об этом я написал в небольшой книге, которая пока есть только на шведском: *Den historiografiska revolutionen 1960–1990*. Lund, Studentlitteratur, 2017. S. 206.

все, стоящие на этой точке зрения, не учитывали значения прошлого, полагая, что все определяется формами и жизнью государства, а также содержанием государственной политики. Социальная жизнь для них существовала полностью за пределами границ государства. Важным было также то, что эти четыре взгляда на историю, не определяемую государством, сформировавшиеся между концом 1960-х и концом 1990-х гг., сохранили свое значение. Их силами свершилась революция в исторических исследованиях, и это означало, что исчезла существовавшая прежде односторонняя основа политических оценок.

Конечно, и до 1960-х гг. существовали иные направления исторических штудий, которые часто были связаны не с историей, а с другими специальными дисциплинами, такими как история образования, история искусства, история литературы и др., однако они чаще всего содержали национальную компоненту, даже когда это не прямо соотносилось с государством или политической жизнью в нем. История культуры в версии Йохана Хейзинги или Якоба Буркхардта была крайне ограниченным явлением, и нельзя сказать, что способствовала совершению революции в области исторических исследований. История ментальности в конце концов была продуктом развития группы «Анналов» и представляла её вариант микроистории. Определение «микроистория» распространяется на многие отдельные движения: от истории повседневности в Германии, движения со шведскими корнями – «копай там, где ты стоишь», History Workshop в Англии и до отдельных характерных персональных историй в известных интерпретациях Джованни Леви, Карло Гинзбурга и Натали Земон Девис. Леви и Гинзбург также издали серию “Microstorie” в одном из ведущих издательств Италии. И тут мы оказываемся в самом сердце главной ветви историографической революции.

*Т. Т.С.: Ты сам никогда не писал о «рассказывающей» истории, нарратив в твоих работах всегда привлекался как иллюстративный, фактологический материал. Даже вышедшие в 2011 г. мемуары «Сделано, продумано, прочувствовано»<sup>7</sup> написаны по большей части как историко-социологическое исследование времени, в котором ты рос и творил. И все же ты стал историком. Почему?*

Когда я только поступил в университет во второй половине 1950-х, моим единственным намерением было изучать философию. Меня привлекала не практическая, а теоретическая философия. Благодаря моему учителю по философии Конраду Марк-Вогану (Konrad Marc-Wogau) я получил представление не только о теории знания, он ввел меня также в строгий научно-теоретический мир Карла Поппера

<sup>7</sup> Torstendahl, Rolf. Gjort. Tänk. Kämt. Stockholm: Carlssons. 2011. S. 404.

с его идеями по истории и обществоведению, изложенными в книге "The Open Society and its Enemies". И хотя вскоре в качестве второго основного предмета изучения мною была выбрана история, я занимался размышлениями по поводу проблем написания истории, используя мои познания в философии, продолжая попытки их расширить и углубить.

С таким багажом интересов для меня было бы неестественно выбрать тему докторской диссертации, целью которой я наметил бы рассказ. Мне хотелось проанализировать то, что делали историки, а также рассмотреть их аргументы, почему они делали именно так, а не иначе, хотя тех, кто представлял эти аргументы, было немного. Позже, после защиты докторской диссертации, при выборе темы для дальнейших исследований естественным оказалось не излагать нарратив. Я хотел заниматься анализом, и после представления на страницах книги политики правых в Швеции в 1920-е и в начале 1930-х гг., где были проанализированы идеологические аргументы, мы с двумя коллегами начали изучать роль ученых и инженеров в период индустриальной революции в Швеции. Меня привлекала междисциплинарная перспектива, потому что в рамках проекта я намеревался исследовать рост и развитие преподаваемых технических предметов, а еще – работу инженеров после окончания обучения. Первая тема поспособствовала моему контакту с тематикой по истории образования, со всем тем, чем занимались представители педагогической дисциплины. Второе направление привело меня к интенсивному чтению книг и журналов по социологии. Я не изучал социологию в университете, однако, приложив большие усилия, я стал прилично начитанным и приобрел понимание социологического типа рассуждений. Именно тогда это было высшей модой в обществоведческом научном мире, и многие историки чувствовали себя вытесненными социологами, которые заняли место историков в качестве общественных прорицателей.

Социология оказалась повивальной бабкой для моих научных идей. Я познакомился с массой теорий, которые меня всерьез заинтересовали, а кроме того еще с рядом интересных методов для проведения разбора теоретически поставленных проблем. Позже социология лишилась высокого ранга в мире общественных наук, и ее место заняли с одной стороны социологического поля социальная антропология, а с другой – политология. Политологические проблемы привлекали меня в меньшей степени, чем социально-антропологические, но там я считал некоторые из расхожих теорий легковесными и аналитически спорными. Поэтому я продолжаю ощущать связь с социологическим типом постановки вопроса до сих пор. Природа профессионализма

была той проблемой, вокруг которой я попытался организовать международное сотрудничество. Результатом этого стали две книги совместно с Майклом Барриджем (Michael Burrage), которые, как я обнаружил, все еще часто цитируются.

*Т. Т.-С.:* Если попытаться обозначить историографическую перспективу в творчестве историка Рольфа Тоштендаля, то сразу следует назвать междисциплинарность всех его трудов. С особым постоянством проявляется методологическое сотрудничество истории и социологии, особенно это видно в трудах по проблемам бюрократизации<sup>8</sup>, а также в еще не опубликованной монографии (рукопись уже отправлена в немецкое издательство Springer) об образовании и карьере инженеров в нескольких европейских странах в период с середины XIX века до наших дней<sup>9</sup>.

*Р. Т.:* Совершенно верно, существует отчетливый социологический угол зрения и в книге о бюрократизации в Западной Европе, и в еще неопубликованной монографии об инженерах Западной Европы. Последняя в некотором смысле схожа с моей книгой об инженерах в Швеции, увидевшей свет в 1975 г., но мне кажется, что моя влюбленность в социологию повзрослела и привела в новой работе к лучшим результатам. В этой книге я рассматриваю европейский контекст, а в предыдущей ограничивался лишь шведскими реалиями.

В обеих книгах – о бюрократизации в Северо-Западной Европе и об инженерах в Западной Европе (на сегодняшний день это девять стран, но в исторической перспективе – как минимум еще плюс три) сравнительная перспектива является главной прерогативой. В книге о бюрократизации сравниваются отношения между общественным сектором, т.е. действиями государства, и частным предпринимательством. По сравнению с моими ожиданиями обнаружилось гораздо больше общего между изучаемыми странами. Различия в основном касались временных показателей по сдвигам в процессе бюрократизации, чем самого феномена. В новой монографии я сравнивал системы образования как таковые и изменения в них, а также карьеры инженеров и уровень их знаний (здесь материал позволил представить компаратив только по двум странам). Кроме этого сравнивались организационные структуры по инженерным профессиям, и здесь выяснилось, что три страны – Великобритания, Франция и Германия – хотя и по-

<sup>8</sup> Torstendahl R. Bureaucratisation in Northwestern Europe, 1880–1985. Domination and Governance. London & New York. Routledge. 1991.

<sup>9</sup> Torstendahl R. Engineers in Western Europe: Ascent – and Decline? A Profession Torn between Economy and Technology, 1850–1990, with Outlooks to the Present. Berlin & Heidelberg.

разному, являются примерообразующими для окружающих их стран. Однако в длительной перспективе наблюдается сходство между разными странами во всех затронутых отношениях. Мне никогда бы не пришло в голову проделывать подобные компаративные процедуры, если бы междисциплинарность в виде социологических и географических сравнений не открыла мне глаза на то, как полезно подобным образом обрабатывать материал. Исторический материал гораздо сложнее стандартизировать, чем современный, поэтому историки, в отличие от социологов и культурных географов, сталкиваются с очень сложными проблемами. Это – не непреодолимое препятствие, а вызов. Никто так много, как Ханс Руслинг (Hans Rosling), не сделал, чтобы привлечь внимание к тому, какие результаты могут быть получены путем кросс-темпоральных компаративных исследований.

*Т. Т.-С.: В творчестве первой в Швеции женщины-профессора истории Биргитты Уден, о которой я неоднократно писала, легко увидеть связь разрабатываемых научных проблем с запросами общества. А чем руководствовался ты при выборе тематики работ? Имела место случайность, хотелось возразить кому-то, оказали влияние учителя или доминировали собственные пристрастия?*

*Р. Т.:* Конечно, я согласен с тобой, что Биргитта Уден касалась проблемы общества во всех своих трудах, написанных ею после получения профессорской кафедры. До этого в ее работах сложнее обнаружить подобную направленность. Ее докторская диссертация была написана под руководством Стуре Булина (Sture Bolin), последующие три работы – большие по объему – появились вследствие интереса Уден к некоторым обнаруженным во время работы над диссертацией явлениям. Эти книги вместе с несколькими работами меньшего формата были проработкой фундаментальной фазы финансовой политики в Швеции конца XVI – начала XVII в. Очевидное влияние Булина касалось, вероятно, в первую очередь методики и стремления к подсчетам, а не выбором Уден постановки проблемы. Я говорю «вероятно», потому, что этот вопрос не был предметом моего исследования, но я неоднократно говорил на эту тему с Биргиттой Уден.

Независимо от того, прав я, или же нет, относительно Биргитты Уден, я утверждаю, что в рамках вейбульского направления в шведской историографии, к которому принадлежали Стуре Булин и Свен А. Нильссон (мой учитель и руководитель по диссертации)<sup>10</sup>, преобладающим принципом для определения тематики исследования слу-

<sup>10</sup> О вейбульском направлении Биргитта Уден и я написали главу в книге: "Historieskriningen i Sverige" (red. Gunnar Artéus, Klas Åmark). Lund, Studentlitteratur. 2012, ss. 107–134.

жил внутринаучный интерес. Свен А. Нильссон был очень сдержан в своих комментариях по поводу политических и общественных проблем даже в частной жизни, он никогда не высказывался по поводу работ своих учеников, ориентируясь на оценки общественного или политического характера. Зато много раз в разговоре один на один или во время постсеминарских посиделок я слышал, как он обсуждал ценность проделанной работы, исходя из того, что уже было известно ранее, с целью поставить проблему таким образом, чтобы исследование было плодотворным.

Тема моей докторской диссертации определилась во время бесед со Свеном А. Нильссоном. Он был замечательным учителем, увлекавшим своих учеников аналитическими дискуссиями обо всем, чем они занимались. Я извлек много пользы из его манеры рассуждать, однако он предоставил мне полную свободу при выборе темы и постановки конкретных вопросов. Но невысказанным вслух условием было мое обязательство руководствоваться при этом внутринаучными аргументами. Сам он никогда не занимался историографией, но в то же время был хорошо знаком с работами как маститых, так и молодых историков, поэтому я воспринял его согласие на мой самостоятельный поиск как выражение доверия. Его критика могла быть строгой, требующей переделывания отдельных кусков, но все это проистекало именно оттого, что, по его мнению, при рассмотрении работ историков я недостаточно ясно показал, что же являлось новым и важным в моей аргументации. Позже я часто вспоминал эти уроки критики, когда оказывался один на один с готовой рукописью, которую только сам и подвергал серьезному разбору. Я всегда старался вовлечь коллег и друзей в обсуждение моих работ, но в большинстве случаев они делали это не особенно напрягаясь или, из соображений деликатности, не решались вступить в действительно интеллектуальный разбор. А вот к моей еще неопубликованной книге я нашел в лице Юргена Кокки – современного наиболее влиятельного социального историка новаторского типа – рецензента, который без колебаний указывает на недостатки в аргументации и сравнениях.

Исходным пунктом практически всех написанных мною работ были вопросы, требующие глубокого анализа положения науки (истории, обществоведения), такие, которые нашли отражение в рядовой или лучшей литературе в этой области. Конечно, всегда есть место для случайностей – например, какие книги попадают в руки в определенное время, с какими людьми человек общается и обменивается мнениями. Для меня всегда было важно не иметь цели оказать своими изысканиями влияние на политику или общество. Мне кажется, что

исследователей слишком часто заботит «третья задача университетов», как это называется в шведской политике, т.е. помимо исследований и регулярного образования транслировать знания на публику. В случае, когда общеобразовательная задача получает заметное место в производстве научных результатов, результат может оказаться разрушительным для научного качества. Если эта задача будет определять сам круг исследовательских проблем, наука легко потеряет свою научность. Я имею в виду не ее репутацию, а аналитическую стройность и стремление решать сложные проблемы.

*Т. Т.-С.:* Значительная часть твоей профессиональной деятельности была связана с преподаванием в старейшем университете Швеции и всей Скандинавии – Уппсальском. Ты не только читал лекции, вел практические занятия, но и руководил семинаром для докторантов. По моим подсчетам, под твоим научным руководством 39 человек успешно защитили докторские диссертации. Хочу спросить, что тебе дали твои ученики?

*Р. Т.:* Абсолютно очевидно, что имелась фундаментальная ошибка в системе преподавания гуманитарных дисциплин в то время, когда я стал профессором. Эта система существовала в самой своей худшей форме и в Стокгольме, где я унаследовал профессорскую кафедру со множеством учеников после Свена Ульрика Пальме, и в Уппсале, где я немного позже принял из рук Свена А. Нильссона крупный семинар. Амбициозные профессора в то время привлекали к себе много учеников, видевших определенные плюсы в том, что их руководители были интересными учеными. Проблема заключалась в том, что некоторые профессора на первое место ставили собственную исследовательскую работу и пытались отговорить как можно больше студентов от выбора своего семинара. (Профессорами истории в то время были только мужчины, и единственное исключение составляла Биргитта Уден).

По предмету истории существовала сильная традиция давать многим ученикам шанс проявить свои способности, одновременно профессор единолично решал вопрос о зачислении в свой семинар для последующей защиты диссертации. Поэтому я получил слишком много студентов как в Стокгольме, так и в Уппсале. Многие из тех, кого я «унаследовал», имели темы, по которым я не был специалистом. Довольно быстро я понял необходимость изменения всей системы, и дух времени играл мне на руку. Вскоре появилось правило, согласно которому каждый докторант должен был получить несколько руководителей, одному из которых следовало иметь компетенцию по диссертационной проблематике. Кроме того, прием в докторантуру стал регламентированным, и решение об этом принималось коллегиально.

В Уппсале же по исторической дисциплине один из закрепленных за докторантом профессоров всегда становился главным руководителем, отвечавшим за написание и защиту диссертации.

Я любил вести семинарские занятия с докторантами и считал важным обеспечить их разнообразное содержание. Часть семинаров могла состоять из дискуссии на тему предварительных набросков к диссертационному исследованию, другие посвящались дискуссии по тематике, взятой из статьи в журнале или главы из книги на актуальную тему, желателно из международной литературы. Я с удовольствием приглашал на семинары иностранных ученых, которые представляли какую-то часть своей работы. Это давало моим ученикам возможность непосредственно знакомиться с теми исследовательскими направлениями, которые репрезентировали гости. Во время дискуссий на семинарах я всегда старался провоцировать участников своими вопросами, на которые было нелегко ответить, причем ставил во главу угла новое знание, к которому должно было привести исследование. Многие из «моих» докторантов принимали вызов и делали потрясающие сообщения во время занятий. Они отвечали не только мне, но обменивались репликами друг с другом, что часто превращало семинарские занятия в интеллектуальные праздники.

Я многому учился у моих учеников, как на семинарах, так и во время индивидуальных бесед по поводу их будущих диссертаций. Некоторые из них помогли мне обнаружить проблему там, где я прежде не видел объекта для исследования, многие развили отдельные взгляды, которые стали очень ценными для шведской исторической науки. Я хочу подчеркнуть слово «шведской», ибо только в исключительных случаях кто-то из них осмеливался заплывать далеко от берега. Я воспринимал как неудачу тот факт, что мало кто из моих учеников осмеливался вести исследования не только на материале шведской истории. Тем большую радость доставили мне те, кто сделал шаг в мир, за пределы Швеции.

*Т. Т.-С.:* По тематике и географии твоих трудов видно, что ты распахивал не маленькую делянку, а трудился на поле, где произрастали плоды из разных уголков не только европейского региона, но и других частей света. Тебя зачаровывала культура изучаемых тобой наций. А какие у тебя самого увлечения в области искусства?

**Р.Т.:** В самый активный период моей деятельности я выполнял обязанности профессора, префекта кафедры и декана факультета, а также научного руководителя Шведской коллегии высших исследований в области социальных наук (SCASSS), поэтому у меня не было времени для чтения романов, походов на художественные выставки

или в кино. В часы бодрствования я только работал и совсем мало времени проводил с семьей. Культура была отодвинута на задний план. Поэтому я почувствовал большое облегчение, когда после выхода на пенсию смог вновь уделять время моим интересам в области культуры, и прежде всего музыки, прослушивание которой всегда доставляло мне наслаждение (от Монтеверди через Баха и других мастеров барокко к Моцарту, Бетховену, Брамсу, Чайковскому, Рахманинову и Малеру). В отдельных случаях во время моих научных командировок в Париж и Берлин я иногда ходил в оперу, но чаще посещал концерты. Когда я был "fellow" в берлинской Wissenschaftskolleg, я часто посещал концерты Берлинского филармонического оркестра. Теперь во время моих регулярных визитов в Москву я не упускаю возможности посетить выставки в Пушкинском музее изобразительных искусств и Третьяковской галерее, сходить на музыкальные концерты. Чаще всего это – Большой зал консерватории и концертный зал Чайковского. Не очень часто, но с удовольствием бываю на оперных спектаклях в Большом театре и Геликон-опере.

## «МЫСЛИТЬ ИСТОРИЮ РАЗУМНО» ИНТЕРВЬЮ С ЙОРНОМ РЮЗЕНОМ



Германия, Бохум, 5 апреля 2018 года<sup>1</sup>

*Андрей Линченко: Мой разговор с Вами будет затрагивать проблемы философии истории, так как значительное место в Ваших работах посвящено философским проблемам историографии и репрезентации прошлого. Насколько перспективным Вы видите обращение к некоторым идеям классической философии истории, к идеям Гердера, Канта, Гегеля? В какой степени мы можем сегодня использовать отдельные элементы примеров и рассуждений об истории, написанных в традициях классического исторического мышления?*

*Йорн Рюзен:* Отправной точкой моих размышлений о философии истории, ее роли в исторических науках, в частности, в дидактике истории была и продолжает оставаться теория истории И.Г. Дройзена, известного историка XIX века. Помимо Дройзена я включил бы в современную концепцию метаистории Гегеля и Канта, потому что Дройзен представляет собой синтез обоих – гегельянства и кантианства. Таким образом, наследие, которое имеет значение для меня, это

---

<sup>1</sup> Беседу вел кандидат философских наук А.А. Линченко.

немецкая традиция философии истории, а именно материальная философия истории, лучшими представителями которой являются Гегель и Кант. Многие считают, что Кант и Гегель являются альтернативой. Я так не думаю. Я думаю, что довольно легко найти общее у обоих мыслителей. Но, как представитель XXI века, вы не можете просто повторить идею истории конца XVIII века, потому что в этом промежутке возникли и развивались академические дисциплины: не только история, но и социология и другие дисциплины, где история играет большую роль. И поэтому вам необходимо интегрировать конкретный подход к истории, который дан в этих академических дисциплинах, в идею всеобщего развития человечества, так как это было и до сих пор остается вопросом философии истории. Макс Вебер очень важен для меня. Хотя Вебер отказался от идеи философии истории, у него есть одна, забытая сегодня идея. Вебер очень важен как представитель подхода, демонстрирующего высокий уровень рефлексии к дисциплинарному характеру гуманитарных наук, методических исследований и герменевтической рациональности.

Кроме того, так как я занимаюсь изучением исторической дидактики, меня интересует практическая роль, которую историческое мышление играет в жизни человека. Ведущая категория для меня в этом вопросе – это историческая культура. Историческая культура является для меня неотъемлемым элементом философии истории.

Для меня проблемой материальной философии истории является развитие человечества. Человечество – это целостность, включающая культуру и все условия жизни человека. Кроме того, для этой материальной философии истории, а также для моего собственного мышления огромное влияние имела другая концепция, а именно тезис Артура Данто и других о том, что историческое мышление имеет повествовательную структуру. Он был озвучен немецким философом Гансом-Михаэлем Баумгартнером, и я зацепился за него. Когда Хайден Уайт шокировал мир историков своим нарративизмом, я принадлежал к тем немногим людям в исторической науке, которые не были удивлены. Я мог общаться с ним (мы говорим по-немецки «auf Augenhöhe», то есть «на равных») на той же волне. Есть две другие версии философии истории, которые, я думаю, мы должны признать. Помимо материальной философии истории вроде Канта, Шиллера и Гегеля и не говоря уже о Карле Марксе, Карле Ясперсе.

*А. Л.: Вы имеете в виду субстанциальную философию истории?*

*Й. Р.:* Да, вы назвали это субстанциальной философией истории, я говорю – «материальная» (materiale Geschichtsphilosophie). Существует также философия истории, представленная Дильтеем, Риккертом, Зиммелем – неокантианскими мыслителями, включая Макса Ве-

бера, и всем нарративизмом современности (Х. Уайт и подобные ему). Это доминирующая форма философии истории сегодня. Они представляют совершенно другое видение истории. Я называю это формальной философией истории. Существует третья версия философии истории, которая еще не рассматривается как самостоятельная. Мы находим ее в дискурсе памяти. Этот устоявшийся академический дискурс заменяет функцию мышления об истории новым способом обращения к прошлому, который дан в фундаментальном и сущностном, экзистенциальном пути человеческой памяти. Если у меня будет возможность прожить несколько лет дольше и не потерять свои умственные способности, я бы хотел написать философию истории, которая объединяет эти три измерения в одну целостную концепцию. Материальная философия и формальная философия должны быть опосредованы, содержание и форма – это две стороны одного и того же. Но где эти две вещи синтезируются? Существует единство, особенно в памяти, прежде чем его искусственно разделят. Это на данный момент моя концепция философии истории.

*А. Л.: В связи с этим как Вы относитесь к философии К. Ясперса и его проекту экзистенциальной философии истории? Я обратил внимание на то, что в современной литературе его редко цитируют. Могут ли идеи экзистенциализма об исторической природе индивидуального сознания быть успешно адаптированы к пониманию историчности общества? Ведь общество нельзя сравнивать с индивидом.*

*Й. Р.:* Я бы мог ответить да. Карл Ясперс для меня очень важный мыслитель, но не в том ключе, в котором вы задали мне свой вопрос. Экзистенциализм, философия, анализирующая роль истории в жизни человека, в целом для меня является проблемой. Для меня экзистенциализм представлен не столько Ясперсом, сколько Хайдеггером. В «Бытии и времени» история рассматривается в качестве фундаментального фактора человеческого существования. Человеческая жизнь определяется «историчностью». Я думаю, что Ясперс подтвердил бы эту концепцию, но я узнал это не от него, а от Хайдеггера в его «Бытии и времени». Тем не менее, я критически отношусь к этому виду экзистенциализма, потому что это всего лишь формальная концепция. Она отсылает к историчности, а не к истории. «Историчность» действительно является фундаментальной характеристикой человеческой жизни, но она не имеет никакого содержания, никаких реальных событий во времени. Карл Ясперс для меня очень важен и актуален, но совершенно в ином ключе. Я думаю о Ясперсе как о философе истории в контексте его работы «Смысл и назначение истории». Здесь Ясперс ссылается на сегодняшнюю ситуацию, когда западная традиция исторического мышления встречает незападные традиции. Мы долж-

ны быть вовлечены в глубокую взаимосвязь и в общение с этими традициями. Западный способ писать историю доминирует. Есть много людей, которые радикально критикуют это. Например, в постколониализме. Но логика постколониализма столь же западна, как и критика исторического мышления. Это не приносит никаких незападных способов мышления в дискуссию. Нам необходимо межкультурное общение по основным вопросам исторического мышления. Эта работа еще не началась. Чтобы дать вам пример, как это можно сделать, я хотел бы рассказать вам о недавнем проекте, в котором я буду участвовать вместе с коллегами в течение следующих пяти лет. Это проект, направленный на изучение и сопоставление основных понятий, отражающих историю. Примеры таких понятий: «прогресс», «развитие», «объективность», «история», «нация» и т.д. Существует длинный список этих понятий, которые используются для того, чтобы охарактеризовать что-либо как историческое на фундаментальном и конститутивном уровне. В этом проекте мы сопоставляем и сравниваем английскую, немецкую, китайскую и японскую концепции.

Когда моя недавно вышедшая книга «Историка. Теория исторической науки» (2013) была переведена на английский язык, английский перевод получил название «Доказательство и смысл: теория исторических исследований» (2017). Оригинальный перевод подвергся критике со стороны издателя. Мой английский был слишком «немецким». Простой пример: одна из ключевых идей моей теории истории – идея исторического смыслообразования («Historische Sinnbildung»). Как вы скажете это по-английски? У меня есть ясная английская версия, а именно «формирование исторического смысла» (“historical sense-generation”). Но это не для английских ушей. Это звучит очень странно для англоязычного мира. Лучшее выражение – «придавать или формировать исторический смысл». Мне нужно было понять, что языковые различия очень важны для истории вообще и для теории истории в частности. Есть некоторые немецкие слова, которые вы даже не можете перевести. Одним из ключевых слов в рассмотрении роли истории в человеческой культуре в целом является немецкое слово «Bildung». Вы не можете сказать это по-английски. Такое слово просто не существует. Вы не можете сказать «образование». Либо вы используете эту немецкую версию, либо говорите «самосовершенствование» (“self-cultivation”), что звучит довольно странно. Короче говоря, этот опыт языковых проблем привел меня к идее перечислить основные и наиболее важные понятия, используемые в историческом мышлении на разных языках. В итоге у нас была группа людей и первый список этих понятий на четырех языках: английском, немецком, китайском, японском. Сейчас мы планируем первую книгу (главный

редактор – профессор Ульрих Тимме Кракх), в которой эти четыре языка сравниваются и комментируются на одном и том же уровне. Следующим шагом будет расширение на все соответствующие языки, включая ваш, русский, а также португальский, испанский, итальянский и т.д. Этот шаг уже в процессе подготовки. Что это значит для философии истории? Мы на Западе привыкли к западным традициям, у нас нет представления о незападных идеях трактовки истории. Эта ситуация требует нового подхода к проблеме философии истории: мы должны делать это на межкультурной основе. Мы должны объединить различные великие культурные традиции мира таким образом, чтобы они вписывались в одну идею истории.

Одним из первых философов на Западе, который сделал это, был Ясперс. Его идея осевого времени является очень вдохновляющей, по крайней мере, для меня. Моя идея о том, как концептуализировать историю как процесс, обращенный к человечеству в различии культурных традиций, была инспирирована Ясперсом. Он разработал идею «осевого времени». Его философия истории привлекла внимание к взгляду на человечество, с учетом различий в его представлении в разные времена и эпохи. Итоговой идеей Ясперса была объединяющая концепция истории. Он представил ее в образе своей собственной философии. Это западный и европоцентричный способ мышления.

Думаю, мы живем в такое время, которое, по Ясперсу, можно охарактеризовать как «второе осевое время». Это означает, что мы должны следовать линии философии истории Ясперса, но признавать культурное разнообразие и различия. Ясперс еще актуален, потому что парадигма осевого времени все еще действует. Вы даже можете охарактеризовать то, что мы должны сделать в этом проекте, как следование идеям Ясперса. Ясперс рассказал нам об осевом времени, что было прорывом к новой идее о том, что люди – это не только наш народ, но и другие народы. Но эта универсализация имеет границы. Например, последователи Конфуция могут сказать: «Да, люди, не относящиеся к китайцам – это люди, но подлинные человеческие качества у нас!». То же самое верно для классической Индии. В мире живут все остальные люди, но только на индийской земле («бхарата») люди могут переродиться и стать лучше. Это разновидности китайско-индийского этноцентризма. Мы знаем о таком же этноцентризме на Западе. Я называю эту идею человечества «исключительным (эксклюзивным) гуманизмом». Исключительность означает, что доминирующей является идея о том, что быть человеком, как правило, значит быть человеком собственных традиций. Этот исключительный гуманизм все еще доминирует в актуальном межкультурном дискурсе. На Западе это

встречается в пересмотренной версии, как «отрицательный этноцентризм» (в основном в концепциях постколониальных исследований).

Следуя Ясперсу, я бы сказал, что интеллектуальный запрос второго (нашего) осевого времени, современности, состоит в том, чтобы превратить «исключительный (эксклюзивный) гуманизм» в «инклюзивный». Нам не нужно растворять различия, но мы должны интегрировать их в универсальную форму общения. Моим примером этого всеобъемлющего гуманизма является уже упомянутый проект Core Concepts. Здесь вы не найдете ведущего языка (кроме того факта, что комментарии все на английском). У нас имеются четыре языка, и они представлены на одном уровне.

*А. Л.: Вы защищали и продолжаете отстаивать позицию, согласно которой метаисторическая точка зрения должна присутствовать в сознании историка как определенная парадигма мышления. Более 15-ти лет назад в интервью с Эвой Доманска вы отметили, что сегодня существует разрыв между историками и философами. Меняется ли ситуация в свете исследований исторической культуры?*

*Й. Р.:* Я думаю, что этот разрыв все еще существует. Большинство профессиональных историков не интересуются теорией истории. Пока они могут выполнять свою работу, и никто не мешает им, они довольны этим. Они должны понять, что нужно добавить преподавание истории (историческую дидактику) к обычной исторической профессиональной деятельности. История может оставаться предметом в школе, но даже профессиональные историки очень часто скептически относятся к тому, что делают дидактики истории.

С другой стороны, профессиональная работа историков осуществляется на основе заранее пред-данных идей и заранее пред-данных стратегий мышления и исследований. Эти заранее пред-данные концепции, заранее данные идеи должны быть осмыслены, по крайней мере, для того, чтобы учить им учеников. Проблема с мета-историей, с теорией истории состоит в том, что она в основном формулируется отдельно от профессиональной деятельности историков. Это всегда приводит к разрыву между теоретическим отражением исторического мышления и практическим использованием истории исследованиями и историографией. Мост между ними не построен. Поэтому всегда существует опасность, что профессиональные историки не так заинтересованы в том, что делают теоретики. Для примера: в области теории Хайден Уайт – один из самых важных теоретиков (нравится нам это или нет). Мы должны задуматься над его аргументами. Я думаю, что большинство историков, которые занимаются практической работой в специальных областях своих исследований, по-прежнему раздражены Хайденом Уайтом или полностью отказы-

ваются от его идей. Хайден Уайт сказал, что историография – это литература, что историки создают смысл прошлого. Профессионалы считают, что это для них не актуально. И эта реакция не является абсолютно неправильной, потому что профессионализм историков реализуется не в том, как они пишут историю, а в исследованиях. С другой стороны, профессионализм как таковой теоретически не осмысливается как непосредственная исследовательская работа. Процедуры обращения с источниками и подобными материалами не играют никакой роли в теории Хайдена Уайта, и поэтому этот разрыв существует. Об этом приходится сожалеть, потому что дисциплина в гуманитарных науках нуждается в рефлексии, потому что она всегда находится под угрозой идеологического злоупотребления или становится неактуальной для людей вне этих дисциплин. Обе возможности опасны для исторических исследований. Я думаю, что о том, как неправильно использовать исторические исследования, вы, как русский, знаете лучше, чем я. Куда бы вы ни посмотрели, это происходит в разных странах, К примеру, в Польше даже сейчас государство издает законы, которые предписывают, что историки должны сказать, а что нет.

Другой актуальный вопрос – это профессиональное исследование того, что никого не интересует. Но никто не знает, что станет актуальным через двадцать лет. Время от времени вы встречаете критику профессиональной исторической работы, критику ее неуместности. Если история в школе сокращается, согласно этой критике, это очень опасно для исторических исследований в университете, потому что в этом случае дисциплина потеряет позиции и деньги. Я вырос в такой ситуации, это было в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века. Тогда в Германии исторические исследования оказались в большом кризисе. Он назывался «Grundlagenkrise» (нем. «Кризис основ»). Было проведено эмпирическое исследование относительно того, как дети и учащиеся в школе понимают, что такое история. Оказалось, что история в школе не служила демократической политической культуре Федеративной Республики Германии. У историков было ощущение, что этот образ истории поставит под угрозу их дисциплину. В то время большинство студентов исторических факультетов хотели стать учителями в школе. В качестве реакции на эту опасность ведущие немецкие историки (Т. Шидер, Р. Виттрам, Р. Фиерхауз и др.) создали проект теории истории. В результате вышло более шести томов в виде карманных книг. Это хороший пример необходимости теории истории. Работа в этой области продолжалась в 1980–1990-х годах. Я получил свою позицию в университете и сделал карьеру в этой сфере, потому что идея была эффективной. Ее эффективность заключалась в том, что дисциплина истории нуждается в институционализирован-

ном осмыслении, чтобы сохранить свою позицию в социальной жизни. Это было поколение Юргена Кокки, Ханса-Ульриха Велера, Генриха Августа Винклера и многих других известных историков моего поколения. Эта увлеченность теорией, кажется, уже проходит сейчас. Сегодня в немецкой академической жизни нет позиций для теории истории. Последним был Люсьен Хельшер в Бохуме. С его отставкой должность была отменена. Как живой научный дискурс она существует в Нидерландах, в Бельгии, во Франции, в Соединенных Штатах и Англии, но не в Германии.

*А. Л.: Во многом аналогичная ситуация сложилась в отношениях между дидактикой истории и теорией истории. В первой активно используются понятия «историческое сознание» и «историческая культура», а во второй «культурная память» и «культура памяти». Не так давно в журнале “Zeitschrift für Geschichtdidaktik” был опубликован целый том, посвященный понятию “историческая культура”. Однако ваше определение исторической культуры является более философским. Считаете ли вы, что мы можем представить историческую культуру сегодня как объект философского исследования?*

*Й. Р.:* Я отвечаю на вопрос «да», но «историческая культура» – это гораздо больше, чем просто вопрос философии. Это вопрос социальной жизни человека. Она является частью повседневной жизни всех людей во всем мире и играет огромную и важную роль. Если вы хотите знать, в чем эта роль, вам нужна философская интерпретация – главным образом: о чем история. Но самые важные теоретики исторической культуры – не философы. В философии я думаю, что проблема исторической культуры – это, скорее, проблема памяти. Однако память – это во многом не философский вопрос. Это вопрос гуманитарных наук в целом. Историческая культура была впервые концептуализирована Морисом Хальбваксом. Сегодня есть важные историки, которые думают, что ядро, суть того, что мы делаем в теории истории, это историческая культура. Например, в Швеции его представляет Клас-Йоран Карлссон, во Франции – Пьер Нора и окружающие его люди. В Германии это подхватили историки, но проблема заключалась в том, что у нас уже был устоявшийся дискурс об историческом сознании. Помимо этого, был затронут вопрос памяти. Это началось с превосходного египтолога Яна Ассмана, когда исследования памяти разработали свою собственную академическую форму и влияние, отличное от дискурса исторического сознания, который был полностью проигнорирован. Об этом приходится сожалеть, потому что эти два дискурса могут обогатить друг друга. В сегодняшней Германии у нас есть академически институционализированная форма исследования исторической культуры. Вы могли видеть, что есть объявления о по-

зициях на исторических факультетах для изучения публичной истории. Я думаю, что термин «публичная история» пришел из Соединенных Штатов. Приходится сожалеть, ведь в действительности «публичную историю» нужно было бы назвать «исторической культурой». Это наименование намного лучше, но теперь оно называется «публичная история» и является устоявшейся дисциплиной, в основном связанной с исторической дидактикой. Вы можете найти людей, у которых есть одновременно должность, кафедра или ставка профессора публичной истории и исторической дидактики. Профессиональные историки не работают в области публичной истории, потому что историческая культура – это нечто из настоящего. Они интересуются прошлым, они пишут книги об исторической культуре прошлого. Но главный вопрос исследований исторической культуры – это современная историческая культура. Некоторое время я думал, что изобрел термин «историческая культура», но французы уже сделали это до меня. По крайней мере, я внес его в немецкую дискуссию и опубликовал несколько статей по исторической культуре, прежде чем она стала проблемой в состоявшихся дисциплинах. Но это было давно.

*А. Л.: Вы много писали о том, что метаистория задает свой главный вопрос: что создает смысл истории? Вы писали о принципе «взаимного признания различий в культуре» как важнейшей основе межэтнического общения. Именно на этой основе, как Вы отмечали ранее, возможно преодоление этноцентризма в историческом мышлении. Ценности общения участников могут быть соотнесены в процессе диалога. Однако могут ли быть соотнесены смыслы истории? В конце концов, без этого мы будем говорить только о вежливом, но, может быть, поверхностном общении или отдельных попытках межкультурного диалога.*

*Й. Р.:* Очень хороший вопрос. Прежде всего, на мой взгляд, главная проблема в осмыслении исторической культуры – это проблема этноцентризма. Это неизбежно, потому что историческое мышление является культурным значением, привносящим осознание того, кем являются люди. Мы называли это несколько десятилетий назад «идентичностью», «исторической идентичностью» или «коллективной идентичностью». Теперь на интеллектуальном уровне гуманитарных наук происходит отказ от понятия «идентичность», потому что постмодернистские мыслители считают, что у людей нет только одной идентичности, у них их много. Тем не менее, никто не может отрицать, что существуют очень мощные формы коллективной идентичности, которые провоцируют людей убивать других людей из-за их идеи идентичности. Идентичность включает в себя идею инаковости. Если вы говорите, кто является группой, к которой принадлежат люди, по крайней

мере, неявно, если не явно, вы также определяете инаковость других. Существует логика способа мышления, что в собственном опыте всех людей есть нечто из того, что они делали, и что им не нравится. Люди не принимают это, но такая логика есть. Что они делают? Они проецируют эти негативные элементы в идею об инаковости других. Следовательно, всякий раз, когда вы осмысляете социальную идентичность, возникает асимметричная взаимосвязь между этой принадлежностью и инаковостью других. Это элементарный факт для каждого человека. Историческое мышление всегда имеет тень, тенденцию этноцентричной недооценки других. И это мое видение и мое самое важное участие в разработке идей и стратегий для преодоления этой асимметричной взаимосвязи между собой и другим. Вот почему последние десять лет я работал в основном над вопросом гуманизма. Гуманизм означает, что каждый человек имеет достоинство (И. Кант). Если вы посмотрите вокруг и послушаете, что происходит в академических дискурсах, этноцентризм здесь замаскирован. Но в культурной сфере, музеях, памятниках, тем не менее, вы найдете элементы этноцентризма. В вашей стране запрещен фильм о Сталине; если скажете что-нибудь о концлагерях в Польше, вы будете преследоваться по закону. И в нашей собственной исторической культуре есть такое. Если вы отрицаете существование Холокоста – вы будете наказаны. Я принимаю это, но это опасно. Теперь государство думает, что оно уполномочено утверждать, в чем заключается проблема истории. До тех пор, пока говорится: «вы не должны отрицать Холокост», я говорю «да», но государство не может притерпеться подобным предписаниям. Это огромная опасность.

Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, да, мы можем, и мы должны. Делаем ли мы это как историки, это другой вопрос. Пока идея о том, что разные понятия истории могут коммуницировать друг с другом непредвзятым образом. Правила этого общения универсальны. Это во многом связано с гуманистическими традициями. Мы можем разработать из этих правил непредубежденную, идентично непредвзятую коммуникацию. Мы можем развить из этих правил представление о всеобъемлющем значении прошлого. Если вы общаетесь таким непредвзятым образом, вы предполагаете признание других как других. В этом общении мы должны выяснить, что у нас общего, и как мы применяем общие принципы, которые являются нормами поведения по отношению к нам, к нашему прошлому. В эпоху глобализации мы должны придавать гораздо большее значение, чем в прошлом, глобальной или универсальной истории. На вопрос о том, какие характерные особенности придания значения отвечают этой задаче, трудно ответить, потому что в целом отсутствует осмысление этого значения. С другой стороны, можем ли мы написать глобальную историю без

философского осмысления смысла? Есть замечательное исключение, которым я восхищаюсь, а именно книга Дэвида Кристиана «Карты времени». Это универсальная история человечества с самого его начала и до XX века. В этой книге он никогда не отражал свою концепцию, хотя возможно, что такая возможность сделать это была. Но такие люди, как я, склонны осмысливать это: «Какова его основная идея? Есть ли что-то структурирующее или это просто добавление фрагментов?» Чтобы считать текст хорошим, в нем должно быть что-то согласованное. Что делает его согласованным? Это эмпирический вопрос. Это связано с материалом, о котором вы говорите, а именно с людьми. Вопрос заключается в следующем: «Существует ли взаимосвязь между согласованностью текста и способом изучения людей, говоря об истории?». Это абсолютно открытый вопрос.

Я не знаю, все ли когда-либо думали об этом. И что эта универсальная история означает для устоявшихся воспоминаний людей, где она находится? Имеются ли у нее в этих воспоминаниях корни? Если нет – забудь об этом. У вас должно быть что-то, с чего вы можете начать. В исторической дидактике мы говорим: «Man muss die Schüler dort abholen, wo sie stehen» (нужно подбирать ученика там, где он стоит). Студенты приходят в класс, и у них в голове есть некоторые идеи о прошлом. Обычно мы не знаем, что у них на уме. Чему мы можем их научить? Они чему-то учатся, потому что им нужно сдать экзамен. Но если вы не понимаете, что у них уже есть в голове (например, «карты значений», «ментальные карты»), то, чему вы учите, на самом деле их не касается. Нам нужны знания о развитии смысловых концепций истории в сознании студентов. Но, к сожалению, вопросы возрастной психологии не очень хорошо интегрированы в дидактику истории, а в теорию истории и вовсе нет. Нам нужна хорошая теория онтогенеза исторического сознания. У меня были некоторые теоретические идеи относительно моих четырех типов. Их можно использовать так, как это делал Л. Кольберг, исследуя уровни морали. Будут ли результаты действительными или нет, неясно, так как это еще не было исследовано. У людей есть что-то общее, как у человека вне природы. Антропологические универсалии существуют. Многие теоретики это отрицают. Но есть много антропологических универсалий. Например, рассказывание историй, чтобы примириться с определенным опытом времени, является антропологической универсалией. Другими универсалиями являются социальные различия между высшими и низшими классами или внутренними и внешними позициями в данном сообществе. Дополнительные примеры: бедные и богатые, мужчины и женщины. В моей книге «Историка» я перечислил восемнадцать из этих различий, которые являются универсальными. Они образуют

сеть категорий, с помощью которой мы можем интерпретировать события прошлого. Мы можем создать тот же универсализм в критериях значения или придания смысла. Существуют ли универсальные критерии значения или смысла? Мой ответ «да». Например, законность, справедливость, различие между добром и злом – золотое правило. Даже если вы посмотрите на изменения, вы найдете универсальные явления. Это отправная точка для межкультурной философии истории. Мы являемся частью этого процесса создания смысла, мы не стоим вне его. Мы внутри него. В этом причина того, почему я говорю, что единственная возможность создания всеобщей истории – это гуманистический путь, ибо мы разделяем нашу человечность.

*А. Л.: В Вашей статье о морально-исторических суждениях Вы писали о неразрывной исторической идентичности («solid historical identity»). И это указывает на проблему целостности исторического сознания. Однако в какой степени можно говорить о целостности исторического сознания в современной философии истории? Г. Люббе и А. Ассман пишут о разрыве времен. Каковы, на ваш взгляд, перспективы холизма в современной философии истории и теории истории? Можем ли мы использовать эту концепцию сегодня?*

**Й. Р.:** Я бы ответил утвердительно. Что придает тотальность и целостность истории? Это ее предмет – человечество, определенная квалификация особых животных, называемых людьми. Эта квалификация имеет встроенную в нее временность, которая сочетает в себе более ранние и более поздние формы человеческого бытия, но люди остаются людьми. Сегодня существуют тенденции, называемые постчеловеческими, постгуманистическими. Я очень критически отношусь к этому, потому что это может привести к практике искупления человечества, убивая определенные традиционные элементы человеческого бытия. Это то, что люди делали в евгенике, которая до сих пор остается проблемой. В западном мире первые шаги в этом направлении делаются на уровне медицины. Есть интеллектуалы, развивающие представление о человеке в будущем, которое сильно отличается от сегодняшнего представления о человеке. Это очень опасно. Создание новых способов быть человеком не ново. В древних культурах люди меняли свое тело в ритуалах «обрядов перехода», например, посредством татуировки. Сегодня мы не только делаем татуировки на нашей коже. Следующим шагом к изменению самих себя будет изменение некоторых элементов нашего мозга или наших генов. И есть люди в очень уважаемых университетах, которые делают и изучают это. Но при всех изменениях останется то же самое, о чем очень часто забывают. Хорошая философия истории должна заниматься этим.

Что не изменится в сущности человеческого бытия? Это его хрупкость, подверженность ошибкам и уязвимость. Вступая на путь создания Супермена, «den Übermenschen», мы забываем, что в его основе лежит надежда, управляющая этим изменением человечества. Она состоит в том, что мы положим конец всем негативным признакам человеческого бытия, например, если больше не будет болезней. Мы делаем всех счастливыми и так далее. Это чрезвычайно опасно, потому что открывает дверь общему техническому господству над человеческой природой. Мы можем это сделать. Но мы должны знать, что мы все еще остаемся людьми. Мы можем узнать у Канта в западной традиции и у Мен-цзы в китайской традиции, что быть человеком означает, что каждый, кто принадлежит к этому виду, имеет достоинство. В кантианской формулировке: каждый человек – это не только средство для целей других, но и цель внутри него самого. Когда мы открываем дверь сверхчеловеческому качеству, мы преуменьшаем достоинство людей. Нацистская идеология является ярким примером. Любое различие между «действительно человеком» и «не человеком» приводит к этому варварству. Недавно я посетил конференцию в рамках «поворота к животным» («animal turn») в гуманитарных науках. Я сделал замечание, что попадание животных в горизонт нашего мышления (что необходимо) может привести к тому, что различие между людьми и животными исчезнет.

*А. Л.: Вы много писали о том, что разрыв исторического опыта может быть источником создания исторического смысла. Конечно, линейность исторического опыта обычно ассоциируется с этноцентризмом. Народы, как и люди, хотя и имеют положительную биографию. Тем не менее, как мы могли бы писать историю поражений и неудач? И как этому учить студентов? Как преподавать болезненное прошлое в Европе и за ее пределами сегодня?*

*Й. Р.:* Это очень важный вопрос не только для исторических исследований, но и для гуманитарных наук в целом. Каким образом иметь дело с нечеловеческим лицом человечества. Я написал целую книгу об этом: «Zerbrechende Zeit» (2001), в которой рассказал о травматическом опыте Холокоста. Как вы можете созидать смысл или осмысливать историю, частью которой является Холокост? Мое предложение состоит в утверждении многогранности.

Первый шаг – осознать темные стороны истории. Для этого вам нужны новые категории исторического мышления, базовые понятия. Наиболее важным примером является концепция страдания. Гуманитарные науки отсылают к деятельности, действию, активности. Имеется целая библиотека по теории действия, но нет даже пяти книг по теории страдания. Но страдание так же важно и фундаментально, как

и действие. Тем не менее, это не является проблемой для гуманитарных наук. Есть исключения, такие как Рене Жирар, Зигмунд Фрейд, Мишель Фуко. В их работах страдание играет важную роль.

Страдание имеет следствие для процедуры придания значения. Как вы придаете значимость чему-то как негативному? Негативный исторический опыт означает потерю гуманности. Существует устоявшаяся культурная стратегия, которая позволяет людям примириться с такой утратой, а именно скорбь. Но мы не находим большого внимания к проблеме скорби в гуманитарных науках. Проблема в том, что трактовка негативного исторического опыта приводит к двойственности. Простое различие между хорошими и плохими людьми не очень убедительно, хотя оно часто используется в форме отличия преступников от жертв. Немцы, конечно, парадигматически плохие люди, потому что мы совершили Холокост, мы убили евреев.

*А. Л.: В России был ГУЛАГ.*

*Й. Р.:* Да, у вас есть ГУЛАГ. Итак, вы можете присоединиться к участи преступников. Есть страны, у которых нет больших теней, возможно, маленькие, которые не имели сил совершать преступления. Нужно осознать негативность, тематизируя страдание. Это приведет к амбивалентности. Амбивалентность усложняет историю. Поэтому нам нужны стратегии, чтобы сделать амбивалентность пригодной для жизни. Это чрезвычайно важно, потому что это не только вопрос истории, это вопрос нормальной человеческой жизни. Всякий раз, когда вы живете в определенной ситуации, вы должны столкнуться с амбивалентностью. Однако мы не очень хорошо подготовлены для того, чтобы смириться с этим. История может стать вкладом в культуру живой амбивалентности, которая в свою очередь может стать шансом для гуманизации человеческой жизни. Чтобы преодолеть этноцентризм, нам нужны две стратегии. Одна оспаривает равенство. Существует общее равенство людей и их историй. Тень собственной истории больше не может отбрасываться на историю других, она должна быть интегрирована в собственную историю. Если другие делают то же самое, то в этом случае встретятся две амбивалентности, и асимметричная нормативность этноцентризма будет преодолена. Однако посмотрите вокруг, кто это делает? И очень важный вопрос: как можно преподавать это в школе и университете? В Израиле правительство установило преподавание истории Холокоста уже в детском саду. Это приемлемо? Я сомневаюсь. Разве это учение не лишает маленьких детей их «Urvertrauen» (базовое доверие), как его называет известный психолог Эрик Эриксон? Маленькие дети нуждаются в Urvertrauen, в его/ее социальном мире, иначе он или она не будет расти здоровым. Не знаю, как это делается в Израиле. Разве преподавание истории Хо-

локоста на очень ранней стадии не создает в сознании детей крайне невротического отношения к отличиям других людей?

У израильского мыслителя Иегуды Эльканы есть небольшой анекдот: «У евреев две реакции на Холокост». Одна из них – «Это никогда не должно повториться!» Другая – «Это никогда не должно повториться с нами!». Второе отношение – доминирующее. Вы можете увидеть это в Освенциме, когда молодые израильтяне посещают это место. Они реагируют с очень высоким национализмом. Это понятно, но это – проблема. Это большая проблема. Вы без труда можете увидеть в вашей стране границы понимания собственной истории. Для многих россиян Сталин по-прежнему великий человек. Нечто похожее в Китае – вы не можете что-либо публично сказать против Мао Цзэдуна. Молодые люди не знают, что произошло в результате «большого скачка вперед», или культурной революции. Если вы скажете им правду, они не поверят вам.

*А. Л.: Возможна ли идентичность без истории?*

*Й. Р.:* Очень хороший вопрос. В общем, я бы сказал «нет». Что такое идентичность? Это отношение субъекта к себе. Лучшее определение, которое я нашел, это высказывание Кьеркегора, который сказал: «Das selbst ist ein Verhältnis, das ist zu sich selbst verhält». («Я – это отношение, которое связано с самим собой»). Идентичность – это отражающий элемент, встроенный в логику самосубъективации (self-subjectivation). Это относится к общему ментальному процессу формирования идентичности. В обычной жизни вам нужна идея темпоральной линии развития, которая проходит через вас, если вы хотите знать, кто вы есть. Это имеет место во всем мире. Эта идея реализуется по-разному, например, в архаичных обществах. Так, «История нашего народа» может быть представлена в виде ритуала коллективного танца. Посредством ритуалов люди впадают в экстаз, когда божественное снисходит в их умы, а затем они узнают о своих предках.

Открытый вопрос состоит в том, знаем ли мы об отношениях субъектов к самим себе, в которых время и темпоральные изменения не играют роли. Я не уверен, есть ли явления, в которых время исчезает. Мы должны ссылаться на примеры, на случаи. Мой случай - unio mystica (мистический союз, соединение с Абсолютом). Вот вам русский пример: исихазм. В романе Достоевского «Братья Карамазовы» старец Зосима представляет русский мистицизм. Интересно, описывает ли роман элементы его духовного мышления, но я думаю, что можно достичь психической формы вне времени. Но вы знаете об этом, только читая некоторые сообщения о мистицизме. Есть языковая проблема. Мистики говорят о своем опыте: «Вы не можете этого сказать. Это за пределами языка». Другой пример: какова главная

цель дзен-буддизма? Это опыт Нирваны, и в Нирване нет времени, и нет идентичности. Но верующие остаются в этом мире, и у них складывается ментальное отношение, которое вы можете наблюдать. Есть очень хорошая история о дзен-буддизме. В монастыре один из этих людей получил внезапное откровение (сатори). Когда же он его получил, «он смеялся всю ночь». Итак, он начал смеяться, потому что получил совершенно новое представление о том, что такое люди и мир. На мой взгляд, все эти сверхвременные элементы могут существовать, но кажется, что религия как мистицизм далека от компетенции как обычных людей, так и гуманитариев.

Мой следующий пример будет из изобразительного искусства. Мы должны изучить великие тексты или творения искусства. Что случится с вами, если вы послушаете фортепианный концерт Моцарта, С мажор, вторую часть? Это одно из самых красивых впечатлений, о которых я могу подумать. Что случится с вами, если вы приобретете этот эстетический опыт? Оказалось ли время упущенным? Или этот опыт приводит вас к ограниченности времени? Томас Манн описывает в своих «Волшебных горах» ситуацию с героем Гансом Касторпом. Он приближается к своей смерти, потому что он не смог найти дорогу назад после прогулки зимой (глава называется «Снег»). Томас Манн описывает опыт Касторпа как нечто находящееся вне времени. Этот вид опыта выводит нас за пределы философии. Мы должны осознавать религиозные элементы и эстетические явления в понимании ограниченности времени в человеческой идентичности.

*А. Л.: Сегодня некоторую популярность приобрели Холокост-селфи, но это явление имеет глубокие корни, оно связано, как правило, с молодыми людьми или представителями других культур, которые не считают Холокост своим историческим опытом. Как можно сохранить ценность этого опыта в мультикультурном обществе?*

*Й. Р.:* Это, конечно, очень важно для исторической дидактики в Германии, потому что в школах растет число молодых людей, которые не имеют немецкого происхождения и являются выходцами из других культур. Пока они прибывают из Турции, я не вижу никаких проблем, потому что у турок был свой Холокост, геноцид армян. Холокост остается фактором формирования идентичности в истории Германии. Людям, которые хотят стать немецкими гражданами, следует изучать его уроки. Они могут сказать, что их родители, бабушки и дедушки не были вовлечены в него. Но если они действительно хотят принадлежать к немецкой общности, они должны понимать, что Холокост является историческим событием, актуальным для каждого человека. Холокост указывает на условие возможности совершения геноцидов и лишения достоинства других людей. Это универсально.

*А. Л.: Мой следующий вопрос о мифах о прошлом. С точки зрения исторической культуры они являются важной частью нашего понимания прошлого. Какую конструктивную роль они могут играть? И до какой степени, по Вашему мнению, возможна демифологизация?*

*Й. Р.:* Традиционно миф рассматривается как рассказ, относящийся к таким вещам, которые никогда не случались в реальном мире. Это история о некоторых божественных «не-мирских существах»: богах, демонах и т.д. Это точное определение. Если вы понимаете под мифом подобные истории, им не место в историческом мышлении. Но если вы думаете, что любая общая концепция значения, такая как прогресс, гуманизация, рационализация и т.д., уже мифична, тогда разница между мифическим и историческим исчезает. Все становится мифическим, и в этом сегодня проблема использования понятия «миф». А как же христианская «Священная история»? Демифологизация христианства, особенно в концепции Р. Бультмана, все еще остается открытым вопросом. Что помнят христиане, если у них есть такой праздник, как Пасха? Воскресение? Что это? Это не миф в традиционном смысле. Потому что это – история, рассказанная о событии, про которое говорят, что оно действительно произошло. Конечно, неверующие не верят, что это произошло. У меня есть друг, который по данному вопросу написал диссертацию. Он пытался дать ответ на вопрос, можно ли считать Воскресение историческим фактом (Георг Эссен). Но что это за факт? Если миф отсылает к чему-то, что не является фактом, то тогда такому историческому факту, как Воскресение, нет места в историческом мышлении. Если мы найдем ссылки на мифические элементы в повествовании о прошлом, мы как историки, обнаружим, что это очень проблематично.

*А. Л.: Как можно говорить об исторической памяти и историческом сознании в ситуации постнациональной идентичности? С чем она может быть соотнесена? Например, «историческая память – национальная идентичность» и «постнациональная идентичность»? Глобальная память? Глобальное историческое сознание?*

*Й. Р.:* Я должен признаться, что чрезвычайно критически отношусь к идее постнациональных форм идентичности. Но, тем не менее, существуют концепции идентичности, которые выходят за пределы и перспективы нации. Конечно, моя идентичность как человека не является только национальной. Но что такое постнациональное? «Пост» – означает, что было время, когда у вас была национальная принадлежность, и теперь ее нет. Может быть. Но как эмпирический факт – действительно ли ее нет? Мы живем в то время, когда все действующие государства мира являются национальными государствами. Но интеллектуалы все же говорят о «постнациональном». Они имеют в виду,

что определенный вид формирования идентичности с исключительными элементами и недооценкой инаковости должен быть преодолен. Конечно, такая точка зрения должна быть принята. Национализм – это очень опасная вещь. Исторический опыт национализма как минимум амбивалентен. Мое личное впечатление таково, что он амбивалентен, потому что в нем также есть и положительные элементы. Без идеи нации современная демократия не появилась бы. Это моя интерпретация известного лозунга французской революции: «Свобода. Равенство. Братство». Что значит «братство»? Я думаю, это означает национальность. Когда родилась американская нация? В процессе создания первой современной демократии, основанной на человеческих и гражданских правах. Национальность была ментальным элементом процесса демократизации. Национальность как выражение гражданского общества означает демократизацию. Поэтому национальность была прогрессивным элементом в истории. Но она может изменить это отношение и стать очень агрессивной.

Я опубликовал краткий текст о нации на веб-сайте “Public history weekly”. Он называется «Nation: lebendig oder tot?» (нем. «Нация: жива или мертва?»). «Мертва» в этом названии означает постнационализм. Я критикую это с помощью двух аргументов. Мой первый аргумент: нация не умерла, потому что она является чрезвычайно мощным элементом в современной политике. Но мой второй аргумент гораздо важнее. Концепция нации изменилась. Традиционно это был элемент отграничения, недооценки и исключения других, роль которых преуменьшалась. И на самом деле это асимметричное отношение опасно. Первая мировая война является хорошим историческим примером бесчеловечности традиционного понимания национальности. В Первую мировую войну шла не только война между немцами и французами (и другими), это была война между двумя идеями национальной идентичности. Для французов их национальная принадлежность была примером подлинной человечности, тогда как немецкая нация была оценена как варварская. Вопрос в том, можем ли мы избежать национальной формы идентичности? Мой ответ – «Нет». Пока мы живем в современном обществе, это общество должно иметь современную форму общения людей друг с другом относительно их статуса как граждан, и это национальность. Альтернативой было бы множество принадлежностей. Но это множество приведет к упадку гражданства. Мой второй аргумент: после 1945 года в Европе произошло нечто знаменательное. В горизонте европейскости исчезли асимметричные национальные отношения. Тем не менее, нации оставались нациями. Но их взаимосвязь изменилась в пользу взаимного признания. Эта перемена может быть продемонстрирована встречей прези-

дента Франции Франсуа Миттерана и канцлера Германии Гельмута Коля на поле битвы при Вердене со всеми национальными символами. Они пожали друг другу руки. Это событие является «Geschichtszeichen» в значении философии истории Канта, то есть событие, которое указывает, что исторические изменения могут быть прогрессом.

*А. Л.: Не так давно в России был запрещен комедийный фильм «Смерть Сталина». Оказалось, что популярность советского политического деятеля за последние годы значительно выросла в России. Многие простые россияне искренне считают, что репрессии были важными и необходимыми. Хорошо известно, что Западная Германия столкнулась с такой молчаливой оценкой нацизма в 1950-х гг., но позже ей удалось пересмотреть отношение к национал-социализму посредством политики преодоления прошлого. Насколько, по Вашему мнению, применим в России немецкий опыт?*

**И. Р.:** Я думаю, что немецкий общественный процесс под названием «Bewältigung der Vergangenheit» («преодоление прошлого») может быть универсальным и применим к другим народам в мире. Япония является примером. Китай является примером. Это можно сделать и в России. И это должно быть сделано, но не будет сделано, потому что это вызывает двойственное отношение. Почему это так сложно? Я всегда использую шутку, как в одном комиксе объясняется, что такое идентичность. Потому что все сразу понимают, в чем проблема. Это комикс с котом Гарфилдом. Гарфилд смотрит в окно и говорит: «Если бы я не был собой, я бы себе не очень понравился». Это и есть идентичность. Идентичность – это отношение к вашей субъективности, которое должно удостоверить вас. Она нужна вам как элемент жизни. Амбивалентность ограничивает эту самооценку и, я бы сказал, обогащает ее элементами критики и дистанции. Но это очень сложно.

Когда Германия объединилась в 1989 г., правительство объединенной Германии пришло к выводу, что ему нужен новый национальный день. У каждой нации есть национальный праздник. До 1989 года у нас было 17 июня как коллективная церемония, это был выходной. 17 июня 1953 года народ Восточной Германии поднял восстание. Итак, это был день свободы и надежды на объединение. Но какой должна быть дата нашего нового публичного дня («Nationalfeiertag») в Германии? Было совершенно очевидно, какой день мы должны были выбрать. День падения Берлинской стены. Когда это произошло, мэр Берлина был там и сказал «das ist der glücklichste Tag der Deutschen Geschichte» (нем. «это самый счастливый день в истории Германии»).

Думаю, он был прав. Это был «Geschichtszeichen» (в смысле Иммануила Канта), потому что весь мир был счастлив. Все были рады видеть, что стена рухнула и народ Восточной Германии стал свобод-

ным. Для меня было абсолютно ясно, что 9 ноября должно стать новым национальным праздничным днем. Но 9 ноября – одновременно день нацистского погрома еврейского народа в Германии в 1938 году, «Reichskristallnacht» (нем. «Хрустальная ночь»). Поэтому такие лидеры, как канцлер Гельмут Коль и председатель центрального комитета еврейского народа в Германии Игнац Бубис, заявили, что этот день не может быть выбран. Было принято решение о выборе 3 октября. Это был день, когда все провинциальные парламенты Восточной Германии решили присоединиться к Федеративной Республике.

Приемлемость амбивалентности противоречит глубокому желанию нравиться самому себе. Это опасно, потому что это позитивное отношение, это высокое качество уникально для каждого человека. Американская декларация независимости – это американская декларация, а штурм Бастилии в августе 1789 года – французское событие. Немецкий “Bewältigung der Vergangenheit” (примирение с прошлым) является радикальной формой введения амбивалентности в самооценку людей. Для немцев это было проблемой, потому что мы не могли развить позитивное отношение к себе как к нации после окончания Второй мировой войны. Когда я учился в старшей школе, наш класс совершил поездку в Нидерланды. Помню, что гуляя вечером со своим одноклассником в Амстердаме, мы общались на английском языке. Зачем? Мы не хотели, чтобы нас называли немцами из-за Холокоста. Это типично для нашего поколения. У моих детей совершенно другое отношение. Люди в моем поколении чувствовали себя виноватыми, хотя они (мы) не были виновны. Мы были слишком молоды. Однако поколение преступников – что они могли сделать? Если бы они чувствовали себя морально виновными, они потеряли бы все силы, необходимые чтобы построить новую страну. Но новой Германии нужна была элита, компетентность людей, способных создать новую послевоенную систему. Какая была альтернатива? Следствием этого стало то, что травмирующий характер исторического опыта нацистской преступности лег на плечи следующего поколения, которое было моим. Это сделало мое поколение в истории критическим поколением. Посмотрите на отношение выдающихся историков, таких как Винклер, Велер, Кокка, Момзен. Они создавали критическую историю. У следующего поколения было другое отношение. Какие идеи истории сейчас доминируют? Это открытый вопрос. Потому что моральные последствия исторического опыта Холокоста все еще очень сильны. Еврейский народ крайне заинтересован в сохранении этих моральных последствий. В исторической культуре существует общая тенденция возвращаться к этой проблеме, затрагивающей идентичность, тенденция жертвенности. Почему предпочтительно быть жертвой? Жерт-

вы невинны. Невинность – очень позитивное качество людей. По этой причине преимущество принадлежит жертвам. Мы, немцы моего поколения, считаем, что нам полезно осознавать, что мы принадлежим к преступникам, потому что это привело к гораздо более сложным и двойственным отношениям с нашим прошлым.

Нашли ли немцы убедительный способ согласования их отношения к истории и прошлому - вопрос открытый. Для меня историография моего поколения критична, в ней есть дистанцирующий элемент. Но это не то, с чем вы можете идти в ногу со сменой поколений. Вы не можете постоянно отрицать свое прошлое. С другой стороны, вы не можете вернуться к докритическому отношению. Нам нужно новое отношение. Но у меня нет парадигмы такого отношения. Мою концепцию взаимоотношения трех поколений использовал южноафриканский историк. Он применил ее к истории Южной Африки – последовательность такая: сокрытие, морализация и историзация. Концепция могла бы быть применена и в Японии, но у японских историков никогда не было второго периода – морализации. У них было только сокрытие – до сегодняшнего дня. Они должны дорого заплатить, игнорируя важную центральную часть своей истории.

Лучшим примером являются Нидерланды. Голландцы стали жертвами немецкой агрессии. После 1945 года преступниками были только немцы. Однако некоторые представители молодого поколения голландских историков задали вопрос, как немцы смогли отправить большинство голландских евреев в концлагеря, хотя у них не было сильной оккупационной силы, которая могла бы это сделать? Голландский Холокост был невозможен без помощи голландской бюрократии. Результатом этого вопроса стало растущее двойственное отношение голландцев к их собственной истории.

Другой пример: шведское правительство двадцать или тридцать лет назад потратило много денег на исследования Холокоста в Швеции. Руководителем проводимых исследований был Клас-Йоран Карлссон в Лунде. Он опубликовал несколько книг о Холокосте в Европе. По его мнению, Холокост был уже не только делом Германии. Не отрицая, что немцы совершили геноцид, он показал, что это явление имеет европейское измерение. Я думаю, что мы можем универсализировать историческую перспективу Холокоста. Но кто готов принять такую амбивалентность?

## ФРАГМЕНТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДСТВА ДЖОВАННИ ЛЕВИ<sup>1</sup>



*Эта встреча состоялась в городе Мехико, 22 октября 2005 г. Джованни Леви согласился на беседу только при условии, чтобы она будет короткой и о чём угодно, только не о микроистории. Беседу вёл Норберто Зунига Мендоса (Norberto Zuniga Mendoza).*

*Дж. Л. – Джованни Леви  
Н. З. – Норберто Зунига*

**Н. З.:** *Доктор Леви, прежде всего, хотелось бы спросить: после стольких лет работы в качестве историка и с таким богатым теоретическим и методологическим опытом, как Вы ответили бы на простой вопрос: «Что такое история?»*

---

<sup>1</sup> Опубликовано на испанском языке в журнале: CONTRAHISTORIAS. La otra mirada de Clío. №9. Mexico, Septiembre 2007 – Febrero 2008. P. 97-101. Русский перевод, выполненный Екатериной Лавлинской и Норберто Зунига Мендоса, впервые опубликован в журнале «Диалог со временем» в 2009 г. (вып. 27).

*Дж. Л.:* Вопрос довольно трудный. Во всяком случае, могу сказать, что такое история сегодня. Думаю, что это наука, которая занимается истиной. Наука, которая прекрасно осознаёт, что всякая истина всегда будет частичной, неполной и что реальность никогда не будет целостно понятой. Кроме того, история — это наука, занимающаяся истиной о человеке, истиной о поведении людей в своей ежедневной, повседневной жизни.

Но, в настоящее время историческая наука находится в очень трудном положении. Особенно по двум главным причинам. Первая, это её отсталость по отношению к остальным общественным наукам. После того, как историческая наука добилась больших успехов на протяжении XIX века и вплоть до 50–60-х годов XX века, и стала одной из важнейших наук, основополагающим фундаментом для современных наций, ныне она сильно отстаёт от сегодняшних дискуссий и достижений других наук о человеке. Во-вторых, в свою очередь, историческая наука страдает от столкновения с идеями неолиберализма. Неолиберальное Государство оправдывает своё существование за счёт забвения всякой связи с прошлым.

Установление неолиберального порядка ведет к разрыву с историей. И поэтому большая часть исторической информации, которая сегодня передаётся через средства массовой информации, эпистемологически расходится с историей реальной, с историей как наукой. История — это наука медленного и тщательного конструирования, она обязывает понимать всю сложность прошлого, тогда как средства массовой информации предлагают всего лишь быстроту, простоту, упрощенные слоганы, и это упраздняет историю и исторический здравый смысл. Например, публика отдаёт предпочтение такому лозунгу: «Гитлер такой же, как Сталин», в то время как историк должен думать о том, как определить *разницу* между Гитлером и Сталиным. Правда, оба они неприятны, но мы должны устанавливать, какая между ними разница, а не только сходства. Возможно, это не до конца объясняет, что такое история, но я прежде всего обращаю внимание на то, что история — это наука о частичной истине, о частичной человеческой истине.

*Н. З.:* На одной конференции о возникновении и развитии общественных наук в XIX веке, французский историк Жак Лафайе, ссылаясь на одного мыслителя (на кого — я сейчас не помню) сказал, что психологом становится тот, кто не доволен самим собой, а социологом тот, кто не доволен окружающими. Тот мыслитель не упомянул, по каким причинам можно стать историком. Я спрашиваю Вас: «Можете сказать нам: почему Вы историк? Почему Джованни Леви стал историком?».

*Дж. Л.:* Сейчас я историк по совершенно другим причинам, чем тогда, когда я им только собирался стать. Вначале я считал (как и многие из моих друзей), что история необходима для понимания современного социального мира. Сегодня я продолжаю думать так же. Но начиная подготовку как историки, мы были очень сильно связаны с конкретной политической практикой. Мы думали, что история полезна как для понимания общества, так и для его трансформации. Сегодня я думаю несколько иначе. Кроме того, я глубоко разочарован, потому что наша профессия оказалась подвержена склерозу, она деполитизирована, утратила свои политические начала, основы.

Говоря о политике, я имею в виду не демагогическое применение и упрощенное прочтение этого термина. Политика, я думаю, способна преобразовывать мир, стремясь убеждать людей, объяснять им, что наш мир очень сложен. Я пытаюсь пояснить это, так как очень часто политическое понимание истории превращается в банальное упрощение. Например, говорят просто: «рабочий класс». Но, «что такое рабочий класс?», «сколько их?», «каков его состав?» То же самое происходит с «подчинёнными классами»: «сколько их?», «как они разделяются?» Или, аналогично, «что означает быть угнетенным»? Вовсе не достаточно описать «злых угнетателей» и «добрых угнетенных» и т.д.

Я считаю, что политика в истории — это борьба за более сложные объяснения; но повторяю, сегодня историки сильно отстали в плане методологии, в своих вопросах, к тому же они подвергаются агрессивному натиску со стороны средств массовой информации. Сегодня историку труднее заставить себя слушать, чем тридцать лет назад, когда я начинал свою работу.

*Н. З.:* Доктор Леви, Люсьен Февр рекомендовал студентам *École Normale* (это опубликовано в его книге «Бои за Историю»), чтобы, кем бы они ни стали – историками, психологами или социологами, они, прежде всего, должны жить, «вмешиваться в жизнь». Что Вы думаете относительно такой рекомендации?

*Дж. Л.:* Я полностью согласен с этим. Я считаю, что историки постоянно должны размышлять о своих персонажах, сопоставлять себя с ними. Вообще, нередко мы как бы высмеиваем своих персонажей, о которых мы пишем, но мы скорее не приняли бы такое отношение к нам самим. Я думаю, что мысль Февра о жизни как раз об этом. Также я думаю, что нет истории для самой себя, я считаю, что эта наука позволяет нам лучше познать человеческое общество, людей. Поэтому же я считаю, что очень трудно дифференцировать историю, антропологию, социологию и другие социальные науки. Такие

различия – дело академий и кафедр. Считаю, что любой инструмент полезен в той мере, в какой он позволяет нам все лучше постигать человеческое общество.

**Н. З.:** *В академической среде придаётся большое значение разграничения между политической и экономической историей, историей культуры, историей идей или ментальностей, микроисторией. Что Вы думаете об обоснованности сегодня таких классификаций?*

**Дж. Л.:** Безусловно, думаю, что они не обоснованны. Один из моих преподавателей, критикуя меня как микроисторика, говорил: «хочу, чтобы ты делал историю – без дополнений, без примесей». Я считаю, что история должна быть без дополнений, без примесей. Историк должен быть просто историком, использующим конечно, все возможные инструменты для решения тех очень сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Классификации направлений – это просто академические упрощения, результат организации кафедр. Подобная университетская классификация может только затруднять взаимопонимание и общение. Это приводит, например, к тому, что историки экономики, идей или культуры игнорируют друг друга. В итоге мы имеем только абсолютное ограничение в понимании фактов и незнание многих очень значимых, необходимых для работы историка вещей. Конечно, существуют некоторые технические различия, которые мы должны стараться преодолеть. Разумеется, мы не можем всё знать, но жестко разграничивать поле деятельности науки непродуктивно.

**Н. З.:** *В эти дни Вы неоднократно говорили, что не читаете историков. Кого читает или что читает Джованни Леви?*

**Дж. Л.:** Много читаю по экономике, очень много по философии, психоанализу, социальным наукам в целом; много читаю художественной литературы. И очень мало исторических работ, хотя это может казаться парадоксом. Без сомнения, я не могу сказать, что совсем не читаю об истории, но количество книг по истории чрезмерно; огромная масса работ, авторы которых стремятся изучить уже знакомую проблему. Берётся случай в одном городке или селении, затем – то же самое еще в каком-то районе поблизости и т.д. Это скучно, и мне абсолютно неинтересно читать об одном и том же в массе подобных случаев. История должна иметь в своей основе *всеобщие вопросы*, ответы на частности мне безразличны. Проблема находится в постановке общих для многих ситуаций вопросов, но на которые эти различные ситуации дают специфические ответы...

Существует множество книг с однотипными, одинаковыми исследованиями о той или иной местности или деревушке – всё это мне не интересно. На самом деле очень редко появляется книга, которая

ставит методологические проблемы общего характера. Общий метод меня интересует больше, чем местный, локальный ответ.

*Н. З.:* *Хочу расширить представление о Вашем чтении. Один автор отмечает, что есть другие методы чтения; что возможно читать и остальными чувствами: слушать, осязать, обонять. В таком случае: что ещё нравится читать Джованни Леви, кроме книг? Кроме истории, чем Вы ещё интересуетесь?*

*Дж. Л.:* В данный момент есть два автора, которых слушаю постоянно – Малер и Шуберт, хотя это не связано с какими-то постоянными предпочтениями. Я слушаю много и популярной музыки. Но по утрам, слушаю сонаты Шуберта или Малера. В настоящий период моей жизни, я привязан к музыке больше, чем прежде.

Также мне очень нравятся растения, деревья. Каждый раз, когда я путешествую по Латинской Америке, возвращаюсь с карманами, полными семян. Все их я храню в сосудах. В моём доме много тропических растений. Я был бы счастлив иметь ферму. Мне очень нравится готовить еду. Меня привлекает это как культурный, этнологический феномен, еда как ремесло. Почему? Потому что, в конечном счёте, я человек слишком материальный, я материалист. Когда говорю об этом, я имею в виду страсть к вещам материальным, ко всему, что сделано руками.

*Н. З.:* *Хочу Вам задать двойной вопрос. С одной стороны, какова с Вашей точки зрения, связь между психоанализом и историей? С другой стороны, Вы уже писали об опасностях гирцизма (Clifford Geertz) и рассказывали об опасностях спивакизма (Gyatri Spivak). Существуют ли, по Вашему мнению, какие-нибудь опасности фрейдизма?*

*Дж. Л.:* Считаю, что опасностей фрейдизма как таковых нет. Тем не менее, думаю, что существует одна большая опасность: это те, кто стремится использовать Фрейда для понимания истории. Это очень опасно. В свое время создали некую психоисторию, как например, Ален Безансон, который пишет абсолютные глупости. Такие как он, и есть настоящая опасность, как те опасности марксизма, которые может создать только тот, кто плохо понимает Маркса.

Что касается первой части вопроса, я бы сказал, что связь между историей и психоанализом, очень нелёгкая. Психоанализ указал нам на довольно важные аспекты истории цивилизации и истории действующих индивидов. Для историков читать Фрейда полезно и необходимо, но не применять его. Чтение Фрейда — дело сложное, но у него есть кое-что для понимания действующих в истории индивидов. Не посредством психоанализа, а при помощи самого Фрейда как великого мыслителя. Например, вопрос о религии. В «Будущем одной иллюзии»

Фрейд рассматривает роль религии в истории цивилизации, что очень полезно для историков. Но только не психоанализ, а сам Фрейд как человек культуры и его вклад в развитие гуманитарных и общественных наук. В настоящее время я готовлю эссе, не о применении психоанализа Фрейда в историографии, а о его двойной концепции истории. Работа должна появиться в журнале “*Rivista Italiana di Psicoanalisi*”.

**Н. З.:** *В эти дни Вы на Ваших лекциях не раз касались понятия сложности. Имеете ли Вы в виду то же, что Эдгар Морен, или же Илья Пригожин, касающийся законов хаоса и т.д.?*

**Дж. Л.:** Думаю, что моё представление о сложности очень простое, хоть это и звучит немного смешно. Всегда подчёркиваю, что самое главное — это знать, что один можно разделить на два, как говорил председатель Мао. Таким образом, я определяю сложность как способ избегать упрощений, простоты и однозначности выводов, которые могут иметь демагогический эффект и которые дают совсем не точный анализ реальности. Именно это, главным образом, привело к неудаче левых движений на мировой арене. Например, склонность представлять рабочий класс всегда одинаковым, неизменно левым и всецело готовым к революции. Вместо этого, мы видим, что есть много рабочих-католиков, и некоторые рабочие консервативны и т.д. Мы должны, в таком случае, спросить себя, правильна ли была наша интерпретация общества.

Я считаю необходимым изучать реальность во всей ее сложности, рассматривать ее всесторонне, во всех ее аспектах, вместо того, чтобы её упрощать, как поступают историки в большинстве случаев. Например, анализы социальной структуры, в своём большинстве, упрощённые. Анализ политического поведения, психологических феноменов часто имеет ту же тенденцию к упрощению. Моя идея сложности, на самом деле, скорее — критика упрощенчества.

**Н. З.:** *Последний вопрос, если позволите, относительно биографии. Фернан Бродель, на одной конференции об историческом образовании, во время его пребывания в Бразилии, упоминал, что необходимо говорить о великих людях. Но он там, с моей точки зрения, не уточняет, кто такие великие люди. Кто они, по вашему мнению?*

**Дж. Л.:** Это старая полемика, где все начинают ссылаться на Брехта и т.д. И я считаю, что полемика довольно важная. Но здесь самое главное, какой тип вопросов мы задаём самим себе, как мы их организовываем. Между прочим, думать о том, что историю делают великие люди — старая идея. К сожалению, в этом нет большого воздействия Толстого или Стендаля. Люди, очень часто совершают поступки или осуществляют действия с совершенно другим результатом

по отношению к их первоначальному намерению. Это очевидно в случае великих людей. Маленькие люди могут быть учтены по количеству, а великие – по качеству. Но мы должны понимать, прежде всего, что после Холокоста, после *Шоа*, мы обязаны спросить, почему, несмотря на наличие таких великих умов, как Кант, Гегель, Хайдеггер, этих выдающихся людей Германии, в той же Германии, родине великих интеллектуалов, невозможно было предотвратить такое чудовищное преступление, как *Шоа*.

Основной вопрос таков: великие люди делают, творят историю? Возможно, но, между тем, положительные великие умы терпят поражение перед лицом того, о чем мы выше упоминали, того, что было подчёркнуто Фрейдом, – это элемент зла в нас, в нашей человеческой натуре. В этом и заключается главное значение *Шоа* – в поражении людей, в бессилии нашего интеллекта контролировать эту иррациональную, безрассудную, бестиальную составляющую человеческой природы. Думаю, что этот факт должен заставить нас серьезнее задуматься о человеке во всей его сложности.

## ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ В. ВЖОСЕКОМ<sup>1</sup>



*W. W. – Войцех Вжосек*

*К. Р-В. – Каролина Полацик-Вжосек*

**К. Р-В.:** *Уже известны мнения о Вашей книге. Какие они?*

**W. W.:** Некоторые из них – институциональные, другие дружеские или неофициальные. Знаю несколько уже опубликованных. Общий вывод такой. Прочтения разнятся в зависимости от стиля мышления дискуссионщиков. Мнения – благосклонны, неудовлетворенность – ожидаемая и, в целом, мною разделяемая.

**К. Р-В.:** *Часто бывает, что мнения о книгах расходятся с ожиданиями авторов. Впрочем, мы знаем, как часто наши доклады на конференциях читаются в контексте второстепенных и третьестепенных или и вовсе периферийных вопросов.*

**W. W.:** Опытный исследователь или докладчик знает об этом и не переживает из-за такой ситуации. Сначала он ищет причины такого

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в книге: Вжосек, Войцех. Культура и историческая истина / пер. с польского К. Ерусалимского. М.: Кругъ, 2012. См. также переиздание: Вжосек В. Культура и историческая истина. Нижний Новгород: Мининский ун-т; М.: Флинта, 2019.

восприятия в себе самом, но одновременно радуется тем редким интерпретациям, которые совпадают в своей тональности с его интенциями.

**К. Р-В.:** *Раз так, то пожалуйста, назовите те идеи работы «Об историческом мышлении», которые не были в полной мере уловлены теми ее читателями, о которых Вы сказали вначале.*

**В. В.:** Хотелось бы, если можно, начать разговор с критической ремарки. Точками отсчета для этих оценок являются, во-первых, моя коричневая книжка, вышедшая 15 лет назад, а во-вторых, мои публикации последних лет, которые моим коллегам по профессии показывали, в каких направлениях велся поиск и принимались решения. Поэтому и книга «Об историческом мышлении» не была для них ни неожиданностью, ни открытием.

Я, видимо, отношусь к числу тех, кто всю жизнь пишет одну книгу. Мне кажется, в равной мере и те исследователи, которые пишут «много книг», меняя свои науковедческие опции и модифицируя поле своих исследований, и те, кто пишет «одну книгу», развивая некогда принятую теоретическую стратегию, в этом смысле не отличаются друг от друга ни в лучшую, ни в худшую сторону. Важно, по моему мнению, какой период созревания предшествовал принятию решения о написании первой работы. Была ли первая книга плодом мыслительной зрелости, был ли это удачный момент для кристаллизации идеи, и оставила ли она пригодный эвристический потенциал для последующих исследований? Наконец, как эти идеи, составляющие завязку мысли, сохраняют свою познавательную плодотворность.

**К. Р-В.:** *Оставила ли «коричневая книжка» такой потенциал? После ее выхода говорили, что она слишком синтетична и при этом слишком лаконична.*

**В. В.:** В этих оценках много справедливого. Наверное, ответственность за такое впечатление несет сам автор. Работа над ее окончательным видом тянулась в издательстве больше года. Более того, судьбе было угодно, чтобы редактором от издательства была госпожа, обладающая большой компетенцией и огромным опытом. Моя склонность к метафоризации и свойственный нашей профессии специфический способ формулировать мысли, такой не нравящийся многим методологический жаргон в соединении с литературным польским языком редактора вызывал много языковых споров между мной и госпожой редактором. Я тогда отстаивал периферийные значения слов, которые применял, надеясь на то, что контекст поможет читателю (а своих читателей я выбирал из коллег по профессии) точно уловить подразумеваемый смысл. Мой оппонент, которой я был тогда всемерно обязан за ее редкую для редакторов принципиальность, отстаивала необходимость сделать из машинописи моей работы книгу,

понятную читателю-неспециалисту. И все же мой способ формулировать мысли, т.е. характер мыслей, формулируемых, в сущности, для тех, кто знает не меньше, а скорее даже больше и лучше меня, не позволил изменить текст настолько, чтобы он нашел широкого читателя.

**К. Р-В.:** *И все же есть ли в работе «История – Культура – Метафора» признаки того, что она будет продолжена?*

**В. В.:** Упомянутая Вами чрезмерная лаконичность мысли, которую мне вменяли одни, для других была синтетичностью и точностью. Для последних в наррации, которую я развернул, не было лишних слов. Есть и такие, кто до сих пор высоко оценивает мою тогдашнюю краткость. Она позволила мне разработать слишком конспективно истолкованные идеи. Я согласен с точкой зрения Яна Поморского, что обе эти книги необходимо читать одновременно. Сначала «Историю – Культуру – Метафору», а «Об историческом мышлении» как ее продолжение. Конечно, как развитие размышлений об историческом мышлении, которое я предложил 15 лет назад. Они образуют общий круг моих исходных позиций, т.е. те самые принципы культурологического (культуроведческого) мышления об истории.

**К. Р-В.:** *Были и есть такие читатели этих книг, которые считают, что Вы предполагаете у своего читателя такое знание, которым он редко обладает. Может, нужно это знание ему предоставить, напомнить, привести?*

**В. В.:** Что есть, а что не есть рудимент практикуемого дискурса, часто непонятно и недостаточно принято. Существует риск быть понятным только для узкой группы единомышленников. И он возрастает, когда пишется работа «для степени» – как раз такой была «коричневая книжка». Я писал ее под вероятных оппонентов. Хотя писание «под оппонентов» не обязательно должно быть проявлением конъюнктуры, направленной на получение положительных отзывов от коллегий, оценивающих работу и влияющих на дальнейшее статусное продвижение автора. «Писание под оппонентов» может быть и следствием действительно сильного влияния учителей / оппонентов на мировоззрение ученика. Когда предполагается вхождение в состав некоторого сообщества, то в силу самих вещей оно служит привлекательным образцом, который создает стабильную точку отсчета. Авторитет учителей, с одной стороны, мобилизует на достижение их высоких стандартов, с другой стороны, может задержать позитивное преодоление этих стандартов, тормозить самостоятельность или даже креативность.

**К. Р-В.:** *Так что же, лучше защищать свои тезисы перед представителями своей научной школы, чем перед чужаками?*

**В. В.:** Думаю, полезно, если эти оценивающие / рецензирующие автора являются одновременно его учителями. Особенно когда ученик

способен реализовать исследования, вписывающиеся в их ожидания. Тогда и процесс оппонирования проходит как бы естественно и безболезненно. Стандарты пишущего вписываются в методологические и методические критерии оценивающих. Кроме того, в выгодном положении оказываются особенно те, кто представляет признанную, уважаемую «научную школу». Если работа, подлежащая оппонированию, вписывается в «регламент» школы, то подлежит рассмотрению, которое учитывает риск критики «школы» tout court в случае рецензирования работы ее представителя. Научная позиция школы обезоруживает возможного критика. Это случай в своем роде автоцензуры оппонента. Кроме того, принадлежность к научной школе наделяет ее представителя (или стремящегося быть им) багажом знаний, опыта и признания благодаря достижениям «школы». Этот «багаж» может быть «мобилизован» в случае, если необходимо выступить против оппонентов. Особенно достижения школы упрощают полемику с критиками извне «парадигмы». Ведь научная школа – это своего рода стиль мышления, который вполне искренне защищают его носители. Защищает его также Учитель. Атака на представителя школы иногда воспринимается как атака на Учителя, причем и самим учеником, и наблюдателями извне.

**К. P-W.:** *А что происходит, если представляющий школу автор в целях дискуссии нарушает или подрывает парадигму школы?*

**W. W.:** Тогда важно, происходит ли это нарушение «парадигмы школы» с согласия учителя или нет. Когда учитель позволяет реинтерпретировать стандарт, ситуация безопасна. Но если это не так, защитить ученика могут критерии сообщества – критерии «надшкольные», границы допустимого, очерченные образцами академического знания не только в данной научной школе, но и в целом в дисциплине.

**К. P-W.** *Насколько это описание относится к отношениям учитель – ученик, т.е. к тем, которые существовали более 15-ти лет назад, когда возникла работа «История – Культура – Метафора»? И главным образом, к отношениям: ее автор – профессор Топольский?*

**W. W.:** Когда я писал эту книгу, я уже несколько лет как защитил докторат. Успешно защищенная докторская работа служит пропуском в *communitas*. После нее я укреплял уважительное отношение ко мне коллег докладами на конференциях, заграничными стажировками, написанием текстов. Все это обогащало мои знания и опыт. Конечно, я надеялся на то, что они благожелательно примут мою книгу, раз уж еще до ее появления они признавали мои исследования. Я надеялся на поддержку, и не только со стороны коллег моего поколения, и не только соотечественников. Тем не менее, такой непосредственной исходной точкой был Ежи Топольский, тогда мой начальник, мировой авторитет, руководитель семинара, на котором мы могли тестировать

свои идеи. Обучение у Ежи Топольского давало возможность проверить себя на конференциях в стране и за ее пределами. Так что прежде чем я представил сообществу свою работу, я подверг свои идеи проверке, выступая с докладами и публикуя статьи.

**К. Р-В.:** *Для Вас было привилегией близко сотрудничать с Топольским, но часто ведь только внешне все выглядит идеально?*

**В. В.:** Что касается проф. Топольского, я мог бы вкратце так описать свою учебу у него. С одной стороны, защитный зонт, который был открыт надо мной, и не только надо мной, мой учитель осознанно применял в той мере, которая не отличалась от научной опеки других выдающихся ученых над своими возможными учениками. А значит, он содействовал возникновению своей школы и был заинтересован, чтобы ее позиции укреплялись. С другой стороны, опека над своими людьми была произвольной защитой (пусть и в незначительной мере, но все же) его собственных достижений и институциональной позиции, а может быть, еще точнее – дисциплины, то есть методологии истории, с которой он в значительной мере отождествлялся. Эта вполне оправданная и справедливая идентификация методологии истории с Топольским (и надо сказать, не только в Польше) обезоружила потенциальных критиков. И в том числе – критику в адрес его учеников. Его мировая известность и частично происходящая от нее научная позиция в кругу польских историков и гуманитариев гарантировала его ученикам не только возможность приобрести эксклюзивную научную компетенцию, но и своеобразный блеск. С другой стороны, эгида, которую он давал, способствовала тому, что критика Топольского и методологии истории переносилась на его учеников, независимо от того, уместна была эта критика или нет.

**К. Р-В.:** *Отступала ли «История – Культура – Метафора» от тогдашней «парадигмы» школы Топольского?*

**В. В.:** Топольский по меньшей мере с 1968 г. пропагандировал идею внеисточникового знания, одну из наиболее плодотворных своих идей, чем ослаблял свою реалистическую / объективистскую концепцию, локализуя ответственность за историческое познание на стороне познающего субъекта. Мои построения, направленные на локализацию истории в объяснительном контексте культуры, при помощи инструментария рефлексии о метафоре разрушали твердый сциентистский образ историографии как науки. Хотя уже в «Теории исторического знания» 1983 года Топольский представлял историографическую операцию на широком фоне исторического знания и сам всегда ослаблял бинарные оппозиции вроде *научный / ненаучный*, его первые реакции на мою идею историографической метафоры были скептическими. После того, как я вернулся из Италии и выступил

с докладом на семинаре, он считал мои концепты слишком постмодернистскими. Столь же сдержанно он относился к предложениям Франка Анкерсмита и позднее Хейдена Уайта, когда Ян Поморский проявлял интерес к их концепциям и распространял их на польском интеллектуальном рынке. Постепенно он убеждался в их правоте, но в полной мере не признавал следующих из них импликаций. Бремя методологической легитимации практики историков, которое составляло его своеобразную *idée fixe*, постоянно вело его к компромиссам. Он до конца поддерживал суверенность своих построений, которые, по сути, были в своем роде капитуляцией Топольского-методолога и теоретика исторической науки перед Топольским-историком и, что важно, историками-сторонниками «естественного реализма». С одной стороны, он боролся за изменение методологического сознания историков, с другой – настойчиво искал соглашения между теми философскими позициями, которые его убедили, и обыденными представлениями историков об историческом исследовании.

**К. P-W.:** *Однако работу «История – Культура – Метафора» он принял благосклонно.*

**W. W.:** Да, это уже была середина 1990-х гг., когда его собственная концепция, изложенная в «Как пишется и понимается история» (*Jak się pisze i rozumie historię*) 1996 года идейно не расходилась с моими тогдашними взглядами. Более того, как некоторые думают, моя концепция была все еще достаточно модернистской, чтобы признать ее разумной. Она пропагандировала современные на тот момент идеи на понятном для модернистов языке.

**К. P-W.:** Может быть, профессор Топольский был просто открытым и толерантным человеком?

**W. W.:** В отношении моих научных опытов он не должен был утруждать свою толерантность. Не будем, опять же, преувеличивать: мои предложения не были такими уж еретическими. Топольский был выдающимся историком и методологом истории. На его исключительности отразился личный антидогматизм, который его недруги называли конформизмом. У него было глубокое сознание историчности мышления и в том числе – исторической изменчивости мышления об истории. С самого начала он тянулся за новыми трендами, принимая для себя за основу традицию, достойную сохранения и защиты. Его можно было убедить в проницательности философов науки, философов культуры и философов истории, когда они позволяли лучше понять историографию. Его мышление было наполнено импульсами, идущими из гуманитарных наук, и он применял их к рефлексии об истории. Поэтому мои, прежде воспринимавшиеся как «еретические», предложения в их более полной обработке и развитые мною идеи Учителя были им,

наконец, приняты. Утвердила его в этом высокая оценка его коллегами, например, официальными оппонентами, моей работы. Для ясности добавлю, что я никогда не испытывал какого-либо давления со стороны проф. Топольского в вопросах о том, как должна выглядеть моя работа или мое мышление. Другие его ученики, конечно, это подтвердят. Я знал, что вначале он не принимал моих интерпретационных построений, но это не влияло на их судьбу. Позднее он их цитировал как возможные решения конкретных вопросов. Добавлю на полях, что проф. Топольский считал, что высказывать можно все, но высказывающийся обязан предоставить обоснование, подающееся обязательной в академическом дискурсе рациональной критике.

**К. Р.-В.:** *Исчерпываются ли Ваши отношения с познанской методологической школой связями с профессором Топольским?*

**В. В.:** Конечно, нет. Чтобы рассказать об этом, надо вернуться еще примерно на 20 лет назад. Закончив обучение истории на Историко-философском факультете Университета Адама Мицкевича в Познани, я стал слушателем докторантских курсов при Институте Философии. Набор на докторантские курсы тогда проводили раз в три года. Чтобы быть допущенным к экзамену на эти курсы, я должен был, таким образом, на год раньше закончить учебу и сдать экзамен на курсы в 1976 г. Благодаря индивидуальной программе обучения, которая была в те годы новостью, я получил диплом на год раньше моих сокурсников. Через год после докторантских курсов я стал ассистентом на факультете Логики и Методологии наук Института Философии под руководством проф. Влодзимежа Лавничака, который, как и многие исследователи, принадлежал к кругу сотрудников Ежи Кмиты. Профессор Кмита вместе с Лешеком Новаком, Ежи Топольским и Яном Сухом участвовал в создании так называемой познанской школы философии науки. Можно сказать, я был отправлен проф. Топольским на учебу к философам. Еще раньше, будучи еще студентом, я ходил на семинар Ежи Кмиты. Почти с самого начала я выбрал это необычное, философско-методологическое направление, которое больше соответствовало моим интересам, чем очень популярная среди молодых исследователей и студентов формалистично-сциентистская концепция Лешека Новака. Это направление в большей степени тяготело к гуманитарным наукам, и, по этой причине, заинтересовавшись методологией истории, я на долгие годы связал свою судьбу с семинаром проф. Кмиты, позднее продолжившимся в Институте Культуроведения.

**К. Р.-В.:** *Это было время, когда пути тесного сотрудничества трех выдающихся ученых разошлись?*

**В. В.:** Да, думаю, определяющим было обособление путей Ежи Кмиты и Лешека Новака. Топольский оставался в суверенной позиции,

потому что всегда оставался историком. Участие в построении парадигмы познанской школы было для него источником вдохновения. Оно заключалось в творческом приложении концепций, выработанных обоими познанскими философами, к его собственной методологии истории. Благодаря своей институциональной позиции он прикрывал неортодоксальные интерпретации марксизма, проводимые в то время в познанской школе, от нападок официальной доктрины. Вначале он принимал участие в ее формировании, но позднее, когда началось оформление двух направлений в философии науки, он больше пользовался социально-регуляционной концепцией Кмиты, чем формулировал немарксистского исторического материализма Новака.

**К. Р.-В.:** *С того времени, с конца 1970-х и начала 1980-х гг., начались Ваши контакты с познанской философией и культуроведением?*

**В. В.:** С университета и, в принципе, по сей день я сохраняю контакты с этим сообществом. Семинар Ежи Кмиты оброс легендой, как и семинар Ежи Топольского. На первом я прошел школу смирения перед основательным, систематичным, последовательным знанием. Когда я даю на прочтение участникам моего семинара работы Кмиты или его учеников, они проходят такой же болезненный путь их изучения, как некогда и я. Герметичный язык, внутренняя логика мира категорий, специфический способ постановки вопросов, широкий горизонт проблем, разнородность дискурсов ставят перед учениками-гуманитариями необычайно высокую планку. Помню, когда мы начинали с моими однокурсниками студентами истории наше приключение с методологией истории, для нас лекции и семинары познанских философов были китайской грамотой. Ночами мы корпели над их текстами, составляли словари базовых категорий и перед семинарскими встречами обменивались мнениями до утра. Когда мы заметили, что для студентов философии, социологии, этнологии, в том числе из других академических институций, мир категорий познанской философии был не менее труден, это нас приободрило. Оказалось, что мы не хуже их, а в чем-то мы ориентировались даже лучше. Для меня очевидно, что позитивным импульсом было то, что меня, историка, приняли на докторантские курсы по философии. Там я установил контакты с коллегами, которые сохраняются до сих пор, и те из них, которые были на то время моими ровесниками или были немного старше, сейчас в ряду тех, кто определяет актуальный облик польской философии, культуроведения, социологии, этнологии...

**К. Р.-В.:** *Насколько я знаю, многие из тогдашних создателей познанской философии не были философами по образованию.*

**В. В.:** Да, профессор Кмита получил образование польского философа, Лешек Новак – правоведа, профессор Сух – физика, Ежи То-

польский – историка. Философию науки, искусства или культуры создавали исследователи, получавшие статус философа, начиная с доктората. Их учениками становились выпускники различных курсов: психологии, польской, английской филологии, права, математики, биологии, физики, этнологии. Они начинали свое образование в области философии с методологии науки, и обычно с той дисциплины, которую они до того изучали, и углубляли ее понимание уже в новой науковедческой перспективе.

**К. Р-В.:** *В чем заключалась польза от контакта методологии истории с философией и методологией науки?*

**В. В.:** Рефлексия над историей, предложенная Топольским в его «Методологии истории», имела очень широкое измерение. Под ее покровом оказались области рассуждений, характерные для направления *Historika*, как в традиции Лелевеля, Хандельсмана или Дройзена, так и относительно новые сферы изучения истории, возникшие из довоенной методологии истории Мандельбаума, аналитической философии истории и философской рефлексии о науке – как в естествоведческой, так и в антиестествоведческой традициях. Последняя была особенно развита именно в познанской методологической школе, которая продолжала философские традиции львовско-варшавской школы, сохранившейся в Познани прежде всего благодаря работам Казимежа Адьюкевича, и использовала наследие Карла Маркса, придавая ему смысл современной социальной теории и философской концепции. Оно трактовалось как концепция, достойная современного логико-методолого-философского анализа. Исторический материализм стал испытательной площадкой для рождающейся философии науки. Науковедческая интерпретация исторического материализма, пропагандируемая познанской методологической школой, открывала Ежи Топольскому возможность использовать его как общую теорию исторического процесса и своеобразную эпистемологию истории. Такой же ролью организующего начала для методологии истории Топольский наделил эту интерпретацию, наполняя ее разнообразной рефлексией о науке, исторической науке и историографии. Благодаря синтезирующему пониманию разнородной рефлексии об истории Топольский мог пользоваться доступной ему современной гуманитарной литературой.

**К. Р-В.** *Я встречала точку зрения, что проф. Топольский был одним из наиболее значимых каналов передачи западной мысли в Польшу.*

**В. В.:** Несомненно, во времена, когда доступ к научной литературе был сильно ограничен (цензура, немногочисленные переводы, немногочисленные контакты между учеными с этой и с той стороны Берлинской стены), стажировки, гранты, лекции, конференции Топольского были чем-то исключительным. Был год, когда Топольский отъездил

10% всех научных служебных поездок Познанского университета. Во время этих командировок он использовал доступные ему источники, изучал литературу и писал книги. Бóльшая часть из них возникла за границей. Благодаря этому, а также его знанию языков, полученному еще дома, и работоспособности он смог получить обширную историческую и гуманитарную компетенцию. Его постоянно приглашали на семинары, конференции и лекции, представлять Польшу на конгрессах, в международных научных организациях и обществах. В Польше его с радостью приглашали докладчиком на конференции по гуманитарным и социальным наукам и на многочисленные специальные исторические конференции. Контакт с познанскими философами, поддерживающими диалог с новейшими трендами западной мысли, позволял Ежи Топольскому пропагандировать на Западе достижения познанской школы через свою теорию исторического знания. Это вдохновляющее влияние философов на творчество Топольского продолжалось до его последнего синтеза – работы «Как пишется и понимается история» 1996 года. Я принимал участие в этом сотрудничестве.

*К. Р-В.* Насколько я знаю – я знаю об этом очень немного, но чувствую, что эта тема весьма деликатная, – мнения о методологии истории (в том числе о профессоре Топольском) не всегда были и остаются благосклонными.

*В. В.:* Специфика критического дискурса в отношении методологии истории, исходящего из кругов, где к ней относятся сдержанно, критично или даже враждебно, заключалась в том, что это был дискурс, культивируемый, главным образом, в кулуарах. Там происходила во времена ПНР свободная от давления официальной доктрины научная дискуссия, в принципе возможная только в «серой зоне науки». С другой стороны, в кулуарах официальной науки до сих пор бытует боязливое критиканство, непригодное для публичных дебатов. Добавлю, что упомянутый страх закулисных оппонентов возникал во многом благодаря статусу Топольского – «правительственного ученого», в своем роде *enfant terrible* режима. А также в значительной мере из-за опасения не посвященных в тайны методологического мышления, что они не выдержат требований этого дискурса в ходе возможной публичной научной конфронтации. Связи методологии истории с историческим материализмом, ясно проявляющиеся в творчестве Топольского, вплоть до конца 1980-х гг. обезоруживали тех, кто был склонен не столько к интеллектуальному применению наследия исторического материализма – как можно было бы осторожно охарактеризовать усилия автора «Методологии истории» и «Теории исторического знания», – сколько к критическому и некритическому отказу от него. Публичный, демонстративный отказ от дорогой для власти ис-

торической дисциплины, как мы знаем, могло дорого обойтись для личных / жизненных позиций человека. Вместе с тем, с другой стороны, горькая чаша критики методологии истории за ее связи с марксизмом досталась первым ученикам Топольского. Независимо от того, заикнулись ли они хоть раз о марксизме, их воспринимали в связи с методологией истории, а та была, по меньшей мере в Польше, наделена таким первородным грехом. Кулуарная критика методологии истории, в том числе как филиала марксизма в историографии, продолжается до сих пор, хотя уже как остаточное явление.

**К. Р-В.:** *До сих пор? Почему?*

**В. В.:** В различных нишах и сейчас пренебрежительно относятся к ученикам Топольского и методологии истории, но уже по причинам, отличным от упомянутых ранее. Методологическая рефлексия в целом, не только в Польше, в обыденном сознании воспринимается как нечто необязательное, бесполезное. Частично это происходит потому, что достаточным для профессионального владения исторической наукой считается инструментально-методическая компетенция. Она приобретает благодаря вспомогательным историческим дисциплинам, источниковедению и, возможно, другим наукам, подпитывающим историю, которые с молчаливого согласия историков признаются за таковые. Кроме того, господствует представление, согласно которому исследовательская компетенция историка возникает благодаря систематическому обучению на семинаре, во время тренинга под присмотром учителей. Практическое продвижение историков, которые достигают очередных уровней научной карьеры и добиваются успеха в профессии, утверждает во мнении, что методология не является чем-то необходимым. Очередных уровней институциональной научной карьеры достигают также те историки (конечно, речь идет и о социологах, экономистах, физиках и др.), чье знакомство с методологической проблематикой не выходит на уровень ее публичной артикуляции. Как кажется, эти исследователи думают, что если методологические знания и нужны, то они в достаточной мере спонтанно приобретаются и интериоризируются в ходе профессиональной деятельности. Этому, как минимум скептическому, отношению к методологии, и притом отношению, которое разделяют многие исследователи, представляющие различные научные дисциплины, благоприятствуют декларации многих выдающихся ученых, отрицающих необходимость в эпистемолого-методологической рефлексии (или метафизично-философской, как ее определял, например, великий Фернан Бродель).

**К. Р-В.:** *Однако есть много исследователей, которые ждут от методологов рецептов успешного исследования.*

**W. W.:** Надо отметить, что в отношении методологии выражают различные точки зрения, и в ходе возможной полемики с ними не следует размениваться на упрощения, группируя их в нечто одно и показывая, например, их непоследовательность. Случается, надо признать, что наши оппоненты, приученные нормативно ориентированными методологами, т.е. такими, которые называют выбранные ими принципы научного познания и трактуют их как признаки научной компетенции, ожидают от методологии рецептов успешного исследования. Если обобщить, методология не занимается алгоритмизацией исследовательских приемов, зато занимается теоретико-познавательным описанием научного познания и исследования. И если она и может поддержать объектные исследования, то только за счет расширения познавательных компетенций, за счет анализа того, как проводится исследование в конкретных дисциплинах, в родственных областях и в целом в науке, и как оно проводилось в прошлом. Короче говоря, она расширяет воображение, оживляет интуицию, мышление в компаративистских категориях, обогащает общее знание о культурных феноменах и т.д. В этом смысле методология науки, и истории в частности, не столько предоставляет конкретные исследовательские инструменты, сколько знание о том, где их искать или как их самому упорядочить, следуя опыту познания предшественников. Не столько предоставляет инструментарий методов, сколько закладывает ментальный инструментарий, пригодный для изобретения методического инструментария.

С другой стороны, склонность некоторых методологов к нормативности, проявляющаяся в классификации результатов работы историков на те, которые имеют познавательные достоинства, и те, которые их не имеют, содействовало тому, что многие историки отказываются от методологии как арбитра научности. Критерии, согласно которым «нормативные» методологи оценивают исторические работы, обычно, как и всякие критерии, условны, за их счет абсолютизируются определенные эпистемологически или исторически локальные модели науки, которые применяются к историографии. В свою очередь, критические диагнозы, формулируемые методологами, – в отличие от критики со стороны, например, источниковедов, – историки прогнать воспринимают как нечто внешнее. И делают это тем охотнее, чем успешнее функционируют «внутренние» стратегии научной оценки, абстрагирующиеся от методологической квалификации.

**К. P-W.:** *Но независимо от того, описательна пропозиция или нормативна, исследователи все равно воспринимают ее как нормативную. Не так ли?*

**W. W.:** Да, именно так. Некоторые историки-практики априорно навешивают такой ярлык. Однако при ближайшем рассмотрении лег-

ко показать и доказать, что дискурс не носит постулирующего характера в отношении истории. Конечно, если его и так нет.

**К. Р-В.:** *Не принадлежит ли уже нормативная методология науки прошлому?*

**В. В.:** К сожалению, многие молодые исследователи, как и многие немолодые, узурпируют право в авторитарном порядке давать оценки насчет того, что могут или должны думать и делать историки. Увлечшись инновационностью и интеллектуальной свежестью некоторых историографических пропозиций, они объявляют очередные методологические turns, провозглашают очередные «революции», перевороты, либо возврат к чему-то как переворот, судят о том, что уже *passé*, а что еще нет, и после кратковременного экзальтированного увлечения чем-то находят благовидный предлог, чтобы призвать обратиться к чему-то еще, заняться чем-то еще. Поскольку этот подход – следствие недостаточности оснований собственного мышления, поверхностного, недалекого восприятия культурных феноменов, то эти призывы должны подпитываться на каждом шагу новой, очередной модой. Злоупотребление этикетками / префиксами в стиле пост- и даже пост-пост- или нео / new – это такой рефлекс, как если кто-то думает, будто важнее этикетка на бутылке, чем содержимое. В результате создается новое, но только на бутылках. Старая нормативная методология часто предлагала в качестве образцов серьезно обоснованные методологические модели и создавала устойчивую, хотя иногда слишком догматичную точку отсчета. Новый номинальный нормативизм пропагандирует новинки ради новинок, ради того, чтобы быть новинкой. Мало того, экзальтированный нормативист думает, что мир должен эти еретические или авангардные концепции немедленно превратить в классику, и не дает миру даже времени на то, чтобы обдумать его ересь и попробовать ее на вкус. А когда это не проходит, нормативист призывает мир к новым «революциям».

**К. Р-В.:** *Эта критика нормативной методологии в ее новой редакции не слишком ли суровая?*

**В. В.:** Я это явление так вижу. Для нашей профессии нет ничего более вредного, чем поспешность в суждениях, модничанье и пиаровская экзальтация. Именно эти подходы исследователей, связанных с методологией, отвращают от нее других, особенно тех, кто не трактует ее поверхностно.

**К. Р-В.:** *Следует ли из вышесказанного, что несмотря на многие перемены, методология все еще не пользуется признанием среди историков, и стереотип дистанцирования от нее сохраняется?*

**В. В.:** Этот стереотип передается зрелыми историками, которые по неведению, злой воле, прямолинейности мышления выработали та-

кое отношение к методологии истории и переносят на своих учеников этот диагноз. А те, в свою очередь, как и во многих других вопросах, принимают мнение своих менторов за чистую монету и не стремятся по разным причинам к тому, чтобы выработать свое независимое мнение. Часть из них, даже имея другие точки зрения, не выражает их, опасаясь остракизма со стороны своих научных руководителей. Определенно можно сказать, что методология истории, восходящая к *Historika, Grundriss, Lehrbuch* или *Introduction*, в которых возникали сюжеты, позднее вошедшие в современную методологию истории, не нашла среди консервативно мыслящих историков – в отличие от проблематики вспомогательных исторических дисциплин – признания в качестве базовой дисциплины для образования историков. Более того, между мыслительным стилем методологов и мыслительным стилем большинства историков возникает различие, которое делает взаимопонимание в принципе невозможным.

**К. Р-В.:** *Речь идет о мыслительном стиле в понимании Людвика Флека или в его обыденном смысле?*

**В. В.:** Конечно, в понимании Флека. В противном случае проблема не была бы такой важной. Да, можно рассматривать этот вопрос в других категориях, но можно и при помощи категории мыслительного стиля.

**К. Р-В.:** *Откуда возникает различие, делающее взаимопонимание невозможным?*

**В. В.:** Прежде чем обратиться к этому вопросу, я бы хотел, в связи с ним, остановиться ненадолго на другом вопросе. Часто те, кто имеет дело с методологическим дискурсом, утверждают, что он невнятен. Много лет назад мне случалось слышать, что тексты (высказывания) проф. Топольского невнятны. Я был этим удивлен, еще когда был студентом, симпатизирующим методологической проблематике. Если мне, студенту, мысли автора «Методологии истории», были понятны, странно, что они не были таковыми для зрелых историков. Я даже думал, что его мысли кажутся мне понятными, потому что я понимаю их слишком поверхностно. Позднее я отказался от этой мысли, когда уже на семинаре Учителя прошел тест, закончившийся для меня успешно. Я залихватски решил, что отношусь к числу посвященных, тогда как все, кто не понимает, не относятся. Преподавая методологию истории или родственные ей дисциплины, я применял и до сих пор сознательно применяю в своем роде популяризацию методологической проблематики. Отхожу от нее, т.е. от популяризации, только на дипломных и докторантских семинарах, когда имею дело с сознательными сторонниками методологического мышления. Стараюсь помочь студентам перейти от ранней академической исторической сознательности к ме-

тодологически ориентированному воображению. Моя цель – быть понятным для тех, кто отличается первой. Я часто спрашиваю, есть ли вопросы, надо ли что-то объяснить подробнее, дополнить и т.д. Обычно студенты говорят, что понимают, о чем речь. Тогда я им говорю, что они должны попробовать представить себе, получится ли у них зареферировать при помощи записей важнейшие вопросы полуторачасовой лекции, например, в течение получаса сразу после лекции и, скажем, неделю спустя. Обычно они отвечают «нет» или что это удастся им с большим трудом. Я сравниваю эту ситуацию с пассивной и активной языковой компетенцией. Как кажется, слушая, студенты понимают, но они не в состоянии перевести услышанное на свой язык. Их языковой запас (и мыслительный в этой сфере мышления) слишком беден, чтобы освоить мир методологических категорий. Для них методология еще долго после первого контакта – чужой язык. Они не думают методологически, не прошли достаточно много тренингов, чтобы говорить (думать) на этом языке. Сходным образом выглядит ситуация, когда речь идет о зрелых историках. Они не проблематизируют историографической ситуации философским *de facto* способом. И ничего неожиданного в том, что это так. Неожиданно другое – их представление, что если методология истории является в той или иной мере рефлексией об истории, то они должны сами (историки *proper*) понимать и создавать осмысленные методологические тексты *ad hoc*. Так легко и просто, а *vista*. Видимо, они так считают потому, что являются историками и ничто историческое не должно быть им чуждо, или/и потому, что полагают, будто методология истории – это здраворассудочное собрание нагроможденных инструментально-методичных опытов. Их не беспокоит, что они не понимают философской герменевтики, но беспокоит, что они не понимают философии истории, хотя вторая может быть основана на первой. В соответствии со свойственной историкам склонностью этимологизировать, они считают связь термина «методология» с методом убедительной *tout court*. Выдающиеся примеры того, как инстинкт этимологизации часто приводит на бездорожье анахронизма, к редукции смысла или *ad absurdum*, предлагает Марк Блок в своей «Апологии истории». Сторонники генетического мышления забывают, что в качестве панацеи для объяснения с тем же успехом можно признать, что культура – это обработка (поля) и не более того, а меланхолия, как писал Куайн, это соединение дыни (*melon*) и овчарки колли (*collie*). Более того, можно добавить, что много других психологических или социологических обстоятельств вступает в силу, когда отбрасывается дискурс чуждого для нас происхождения и незнакомый способ мышления и высказывания.

**К. Р.-W.:** *Таким образом, Вы стараетесь, чтобы студенты понимали, что они должны стараться понимать? Мы должны говорить на их языке или они должны учиться нашему?*

**W. W.:** Прекрасно сформулированная проблема! Мое мнение вот какое. Есть две противоположные стратегии того, как учить трудным вещам. Согласно первой, необходимо принять стратегию открытого доступа, реализуя доступный для слушателя дискурс, то есть приняв его язык, мир категорий, мировоззрение. Она предполагает популяризацию (вульгаризацию во французском понимании этого слова). Вторая рекомендует изучение языка преподавателя, категорий данной дисциплины, профессионального языка. Говоря конспективно, между популяризацией знания, его распространением и обучением у учителя есть рассогласованность. Я сторонник квалифицированной популяризации, заключающейся в том, чтобы отвечать ожиданиям и тех, кто готов к диалогу на своем языке (абитуриентов), и тех, кто способен и хотел бы развить свое методологическое воображение. Последние приходят на мой семинар и проходят (как и хотят) тренинг в области теоретического мышления / говорения / письма. Как я уже говорил, их обучение по профессии заканчивается докторатом.

**К. Р.-W.:** *Каковы источники идей Вашей работы «История – Культура – Метафора» и идей Вашей последней книги?*

**W. W.:** В начале 1990-х гг., когда кристаллизовалась моя концепция эпистемологии истории как культурной рефлексии об историческом познании и исследовании, я имел за спиной опыт систематического изучения историографии школы Анналов, и особенно, можно сказать, учился у Броделя. Докторскую диссертацию (как известно, посвященную ему) я защитил еще в год его смерти, в 1985-м. Учиться у Броделя при его жизни, увы, мне не было дано. Когда я впервые был в Париже, а это был 1984 год, Бродель был уже на пенсии и не вел семинары. Несколько лет я изучал его работы, вчитываясь в его представления о мире и человеке, как мы тогда говорили. Его гигантская работа, символизируемая трилогией “Méditerranée – Civilisation – Identité”, позволила мне приблизиться к истории, открытой социальным наукам, и заставляла тянуться за его восхищающей компетенцией – не только и не столько в области истории, сколько и прежде всего в области социальных наук. Я искал таких гипотез, которые объяснили бы мое *de facto* еще студенческое удивление, что такая работа, как «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» могла считаться исторической, хотя она так сильно отступала от традиционных представлений об истории. Мой принципиальный вопрос, на который я искал ответ, звучал более или менее так: как Броделю удалось историзировать то, что было природным и социальным, как можно бы-

ло писать несобытийную историю? Мировая известность и успех проекта новой истории Броделя затягивали меня в поиск решений тех вопросов, которые поднимала современная аналитическая философия истории и гуманитарные науки. Более того, к этому меня подводил эмпирический материал, конкретная историографическая практика. Эту роль я предоставил французской историографии, которая в XX веке испытывала бурные перемены. Я считал, что эти перемены были вызваны процессом, имевшим онтологический и эпистемологический характер, – изменением представлений, которые, по моему мнению, скрывались за резким различием между нарративами историографии à la Бродель и классической историографией. Эти перемены были следствием изменения культурного / ментального климата, происходящего особенно заметно в новых науках о человеке, как в то время называли гуманитарные и социальные науки и дисциплины. Именно из них тогда заимствовали новый порядок исторического мира. Для модернистской истории предметом анализа сделались социальные феномены, тогда как атомом анализа – социум. Именно характерные особенности и изменчивость социальной действительности были поставлены в центр внимания модернистской (как я ее называю) историографии. Идеалом для нее были и остаются исследовательские образцы естественных наук, особенно те из них, для которых уже существовали соответствия в исследованиях таких наук о человеке, как экономика, социология, антропология...

**К. P-W.:** *Анализ классической и неклассической историографии – это один из принципиальных Ваших подходов, моделирующих описание современной историографии?*

**W. W.:** Да, должен признаться, что данное дуалистическое описание современной историографии, вписывающееся в навыки мышления в категориях противопоставлений и бинарных, то есть логически определенных, оппозиций, является инструментом поиска принципиальных расхождений, которые наметились, по моему мнению, в современной историографии. Оно является попыткой ответить на вопрос, почему так называемая (в свое время) «новая история» предстает как радикально отличная от «старой», традиционной. Эта классификация содержится в интуициях многих исследователей, остающихся в оковах понятий *новое / старое, традиционное / нетрадиционное* или показывающих длительность / недлительность определений, отмеченных дополнением “neo” или “new”. По самой своей сути, мои понятия *классическая / неклассическая* требовали, чтобы я, с одной стороны, интерпретационно возвел в классику традицию, представляющую традиционной историографией, а с другой – воспользовался двусмысленностью приставки “ne”, т.е. я должен был при помощи историсофско-методоло-

гически-историографической интерпретации уловить характерные черты традиционной истории и причем так, чтобы несколько тенденциозно поставить ее в оппозиции по отношению к характерным чертам историографии новой. Таким образом, я собрал присутствующие в исследованиях диагностики историографии, прибавил к ним свойства, которые я сам в ней обнаружил, сделав так, чтобы на этом фоне возникла оппозиция классическая / неклассическая историография.

В качестве центра рождающейся новой истории я принял «парадигму» Анналов, историографические и критико-методологические достижения этой школы. И уже из них я почерпнул аргументы, диагностирующие как традиционную историографию (называемую во французских дискуссиях “historisante”, “événementielle”, “traditionnelle”), так и отличную от нее историографию новую. Я считал допустимым назвать одно из этих направлений исторического мышления «классическим», а другое – «неклассическим». Решение, которое именно так моделировало современную историографию, основывалось на различии между ними, возникшем на историософском уровне, т.е. на уровне исторического мировоззрения и мировоззрения исторического человека. А значит, на вопрос, откуда возникает радикальное отличие новой истории от старой, я отвечал: из расхождений в представлениях об историческом порядке, носителями / сторонниками которого были классические и неклассические историки. Это противопоставление упрощает не только нетрадиционная практика исторического письма школы «Анналов» (и не только их), которая как бы говорила сама за себя, но и критическое отношение к сложившейся историографии, то есть, в моем понимании, не только их упор на «не» в отношении старой историографии, но и упор на «анти», выражающийся в открытых дискуссиях с представителями классической истории. Независимо от того, что Фернан Бродель уже при жизни стал классиком новой истории, я признал его творчество классическим / образцовым для неклассического течения современной историографии. Я признал и, как мне кажется, обоснованно, что ведущее течение неклассической историографии, в период ее расцвета, приходящегося на годы доминирования Броделя, это направление умеренного модернизма, сциентистский вариант историографии, пропагандирующий историю à la Бродель, как осуществление – говоря науковедчески – идеала science в истории и отход от образца lettre, который практиковала классическая история.

**К. Р.-В.:** *Однако не окажется ли, что предложенная Вами в книге «История – Культура – Метафора» классификация, которой Вы придерживаетесь до сих пор, будет слишком значительной редукцией в отношении факта необычайного плюрализма историографии второй половины XX – начала XXI в.?*

**W. W.:** Я так не думаю... Каждая классификация опирается на относительно условные критерии. И именно они определяют, касается ли возникающая в результате та или иная дистинкция существенных черт современной историографии. Является ли результатом познавательно значимых разграничений, т.е. имеет ли эффект, упорядочивающий образ историографии и понимание ее устойчивости и изменчивости. Более того, существенно то, являются ли эти критерии настолько познавательно пронизательными, чтобы позволить увидеть разнообразие историографии. А мое разграничение, в этом смысле, схематично и открыто. С одной стороны, оно не закрывает возможность показать разнообразие и богатство форм традиционной историографии, с другой – создает поле восприятия разнообразия в области неклассической истории. Специальное место в этой области я отвел для немодернистской историографии (например, исторической антропологии), стоящей во «внутренней оппозиции» к модернистскому направлению. Это название и тот способ, которым я его понимаю, может охватить много направлений и субдисциплин истории. Мое понимание современной историографии учитывает также те сочинения историков, которые, например, не уместаются в господствующих в XIX или XX в. направлениях, поскольку могут быть по отношению к ним предтечами или эпигонами. Например, «Культура Возрождения в Италии» Якоба Буркхардта, «Два тела короля» Эрнста Канторовича или «Короли-чудотворцы» Марка Блока представляют, по моему мнению, неклассическую (немодернистскую) историографию, хотя возникли во времена едва ли не абсолютного доминирования традиционного исторического письма. Потому я и поддерживаю это давнишнее разграничение, что оно не догматично и открыто для углубления и дополнения. Думаю, что как точка отсчета оно было принято коллегами и иногда используется. Недавно один из них применил эти понятия (классическая и неклассическая историография) в разговоре со мной, и начав освещать мне их смысл, он вдруг умолк и мгновение спустя добавил: «Что я говорю, это же твоя классификация»...

**К. P-W.:** *Одним из фундаментов, разделяющих историографию, является, по Вашему мнению, то обстоятельство, что историки, представляющие определенные направления историографии, придерживаются специфических историографических метафор. Идея историографической метафоры наряду с упомянутой классификацией историографии, является отличительным знаком Вашей концепции эпистемологии истории, сегодня все чаще определяемой Вами как культурный конструктивизм.*

**W. W.:** Было бы лучше ничего не говорить на эту тему, если бы только я мог рассчитывать, что она известна. Так как другого выхода

у нас нет, давайте допустим, что это так и есть. Если читатель заинтересуется, он всегда может заглянуть в мои работы.

Концепт метафоры, как идея обогатить арсенал категорий, поддающихся анализу историографии, выкристаллизовался в моем сознании, когда я осмыслил творчество Броделя как пример передачи идей из так называемых новых наук о человеке на территорию истории. Еще отцы-основатели школы Анналов Марк Блок и Люсьен Февр, а также глашатай идеи синтеза Анри Берр увлеклись проблематизацией знания о прошлом за счет вопросов, происходящих из так называемых наук о человеке. Короче говоря, я думал, что не пойму перемены в идейном контексте истории (и в ней самой), если не учту интеллектуальный климат эпохи, в которую история написана. Однако одно дело прийти к этому не очень-то новаторскому выводу, а совсем другое – показать, как конкретно ментальный мир культуры отпечатывается на историографических образах прошлого. В 1991 году, значительную часть которого я провел в Италии, я познакомился, в числе прочего, с “*La metafora viva*” Поля Рикёра, “*Modelli archetipi e metafore*” Макса Блэка и с “*Retorica e storia*” – итальянским изданием “*Metahistory*” Уайта, одновременно уча итальянский через известный мне международный язык философии и методологии. Еще в том же году я был приглашен Ароном Гуревичем и Жаком Ле Гоффом в редколлегию «Одиссея» и опубликовал в этом ежегоднике (как позднее оказалось, очень важном для постсоветской / российской новой историографии) статью под названием «Историография как игра метафор. Судьбы «новой исторической науки»»<sup>2</sup>, где я наметил идейное движение в области “*La Nouvelle Histoire*” как игру метафор. Тогда у меня еще не было аналитически разработанной категории метафоры. Моя дефиниция языковой и историографической метафоры вошла только в «коричневую книгу»<sup>3</sup>. Метафору как один из компонентов в объяснении различий между мировоззрением традиционных историков и историков «новой истории» я использовал и ранее. Медленно, как бы неожиданно для меня самого различные элементы моих размышлений сплелись в единую концепцию эпистемологии истории в книге «История – Культура – Метафора»: среди них идеи, возникшие на основе углубления концепта “*la longue durée*” Фернана Броделя, категории революции в приложении к историографии и, наконец, идеи культурной импутации. Применение данной категории, понимаемой, прежде всего, как когнитивная, семантическая (как хотел Рикёр) инновация,

---

<sup>2</sup> *Nomen omen* – на обложке «Одиссея» 1991 года название моего текста анонсировано «Историография как борьба метафор».

<sup>3</sup> Речь идет о работе «История – Культура – Метафора»...

запустило процесс синтезирования многих идей вокруг нее. Идея историографической метафоры, обобщающая языковую метафору, с одной стороны, была (как мне это сейчас видится) шагом как в сторону культуроведчески ориентированной методологии, так и (благодаря тому, что я применял интерактивную концепцию метафоры) к конструктивизму. Я отошел от классической компаративистской концепции метафоры, поскольку понял, что и Блэк, и Рикёр, справедливо, хотя и не во всем последовательно, от нее отказываются. Интерактивная концепция метафоры, признающая в качестве ее конститутивной особенности акт интерпретационной интеракции, устраняет идею ее «контекста открытия» (генезиса, понимаемого как возникновение подобия между субъектами метафоры как источника ее появления<sup>4</sup>) как второстепенную по отношению к более важному аспекту – способу ее функционирования в языке и культуре. Это открыло возможность использовать метафору как риторическую фигуру, несущую ответственность за переход значений из культуры в науку или из одних областей рефлексии в другие, например, в историографию, – значений, побуждающих принимающую их область к творческой интерпретационной интеракции между семантическими полями сопоставленных в метафорах субъектов (миров). Метафора «общество – это организм» Герберта Спенсера могла стать выражением поисков интерпретации общества в органицистских категориях, в то время как метафора Людвига фон Берталанфи «общество – это открытая неограниченная система» – исходной точкой или подтверждением для познавательных корреляций и развитых концепций, которые предписывают именно так понимать (и исследовать) социум, как открытую безграничную систему. Более того, интеракционально понятая метафора открывает возможности, на которые указывали Макс Блэк и Мэри Хесс, то есть, если говорить кратко, возможности толковать ее как категорию, моделирующую один мир, например, мир броделевской социальной системы, посредством другого, то есть посредством функционалистской социологии или категориального мира теории систем.

Наконец, другой, отдельный и непростой вопрос: это позволило мне в заочной дискуссии с Рикёром показать, что концепт “*métaphore morte*” является необоснованным, внутренне противоречивым тезисом автора “*Temps et récit*”. Я пришел к выводу, что если суть метафоры

---

<sup>4</sup> Подобие как основа метафоры, как предполагается ее компаративистской идеей, допускает первичность фиксации «подобных» черт, сопоставляемых в метафоре субъектов, т.е. не позволяет поддерживать идею языковой метафоры как семантического открытия / инновации или абсурда / нонсенса. «Открытием» было бы подобие, а не метафорическое выражение (возможно, выражающее подобие).

в устойчивости интерпретационной интеракции между focus и frame (tenor и vehicle), то в тот момент, когда она прекращается, мы уже имеем дело не с мертвой метафорой, а с чем-то, что метафорой tout court уже не является. Если она существует только тогда, когда живет, то, когда она не живет, она уже ею не является. Когда я принял идею языковой метафоры в ее семантической (когнитивной) форме, это позволило мне описать (хотя бы рудиментарно) путешествия метафор культуры в область историографии и обнаружить их там, приняв их в их историческом контексте, в обличье действующих там историографических метафор.

**К. Р.-В.:** *В «коричневой книге» комплекс историографических метафор был описан конспективно. Как Вы видите их сегодня?*

**В. В.:** Фундаментальными, необходимыми для истории вслед за Джорджем Нисбетом я признал метафоры генезиса и развития, а значительно позже для классической историографии – также идею Индивидуального Субъекта Действия, т.е. базовую риторическую фигуру, организующую, по моему мнению, дискурс классической историографии. Более того, дополнительный аспект, обогащающий круг моих разработок в области префигурации исторического познания и исследования, открылся, когда как бы вследствие развития идеи культурной импутации произошло взаимное обогащение способа функционирования как историографических метафор, так и метафор, участвующих в импульсе импутирования исследуемой культуре. Мое описание дуализирующего способа говорения и мышления, типичного для воображения традиционного историка, так убедительно изложено Йозефом Митеррером, учитывало такое явление, как импутирование историографических метафор в ходе акта возникновения объекта описания как результата описания объекта. Описание объекта исторического исследования – это результат префигурирующего ангажирования в него историографических метафор. Именно они, как я уже определенно это выразил, ответственны за тот вид объективного мира, который предстает субъектам, связанным определенными метафорами или их конкретно-историческими воплощениями.

**К. Р.-В.:** *Это опция в вопросе объектной референции исторического мышления и слово в дискуссии на тему реализма исторического дискурса?*

**В. В.:** Да. Другое, как мне кажется, продвижение моей мысли наступило, когда я развил интересную интуицию о том, что метафора – это своеобразное микро-объяснение. Эта идея, если я не ошибаюсь, развита Мэри Хесс и скрыта у Макса Блэка в его поисках связи между моделированием и метафоризацией. Поскольку, когда я натолкнулся

на нее, я уже считал, что объяснение в версии, представленной аналитической философией, должно восприниматься как вид интерпретации, я признал, что если метафора является или может быть объяснением, то может быть чаще, или только, или даже интерпретацией, поскольку объяснение как исследовательская процедура осуществляется (по крайней мере, в том виде, как ее понимают вслед за Гемпелем, Оппенгеймом, Поппером) в научной практике редко. Широкое понимание интерпретации, конечно, легче поглотит метафору как частный случай интерпретации, как своеобразную микро-интерпретацию. Таким образом, метафоризация – такой частный случай интерпретации, в котором сторону интерпретанса занимает *sujet primaire*, а сторону интерпретандума – *sujet secondaire*. Я думал так: если принимается, что в сцеплении значений в метафорическом выражении мир человека помещен в мир волка (*homo homini lupus est*) или общество рассматривается в объективе организма (общество – это организм), то можно согласиться с тем, что «мир волка» (семантическое поле организма) интерпретирует «мир человека» (общество). Интерпретационная интеракция, осуществляемая в метафоре, является (для сторонников интеракционной концепции метафоры и в их числе для меня) актом интерпретации *ex definitione*. По каким правилам разворачивается интерпретация, зависит от того, в каком дискурсе она проводится – поэтическом или, например, научном, осуществляемом, например, в рамках органицистской социологии.

**К. P-W.:** *Такие понятийные решения не слишком ли расширяют традиционное понимание этих категорий?*

**W. W.:** Конечно, я отвечу: я так не думаю... Ведь если бы я заметил такую опасность, я бы этого не делал. Признание языковой (историографической) метафоры когнитивной категорией рождает вопрос, в каком смысле она может считаться таковой. Я на него ответил бы следующим образом. С одной стороны, мы должны определить смысл понятия «интерпретационная интеракция» как предзнаменование акта / акции интерпретации между субъектами метафоры. Приняв такое понимание, я принимаю, как минимум, что между ними происходит интерпретация, то есть, как я думаю, в этом мыслительном акте различаются то, Что интерпретируется, и то, Что интерпретирует. Это разграничение, в котором трудно усомниться, концептуально дополняет разграничение, осуществляемое в дискуссии о структуре метафоры, при котором используются понятия *focus / frame*, *sujet primaire* и *sujet secondaire*, и, кроме того, допускается доминирование в этом интерпретационном акте одного из субъектов. Как бы естественным образом я называю его, т.е. этот доминирующий субъект, интерпретантом, а дру-

гой субъект, таким образом, является интерпретандумом. В результате, я получаю идею метафоры как микроинтерпретации. Более того, в случае фундаментальных историографических метафор я получаю в своем роде микро-историософскую опцию. Своего рода синтетическую идею связей, происходящих в мире, гипотезу об онтологическом смысле. В последнее время я бы сказал, что она создает компоненты допустимого коллективного языка тех, кто ее использует или молчаливо признает очевидной.

**К. Р-В.:** *Это расширение роли историографической метафоры в историческом мышлении происходит в Вашей последней работе, не так ли?*

**В. В.:** Это определено так. Особенно заметно это в анализе метафоры генезиса. Я посвятил осмыслению роли генезиса и генетического мышления много внимания уже с первого чтения «Апологии истории» Марка Блока. Вскоре затем я познакомился с «Размышлениями об истории» Витольда Кулы. Обе очень близкие по своему звучанию книги открыли для меня важность этой проблематики. Самые существенные для понимания идеи генезиса в историографии сюжеты – это время и причинность, идея начала, генетическая связь, генетическое объяснение. Два последних понятия, используемые Топольским, утверждали меня в убеждении, что генезис – это неизбежная черта исторического мышления. В начале 1990-х мои поиски в этом направлении убеждали меня в справедливости этих построений. Я думаю, что это один из самых важных мотивов рассуждений об историческом мышлении и исторической наррации. Кроме того, если мы обнаружим, что генезис вездесущ в школьном образовании и академическом дискурсе, выступает в качестве ключевой фигуры исторического мышления, в равной мере как интеллектуально рафинированной, так и встречаемой на элементарных ступенях дидактики (генезис Польского государства, генезис Возрождения, генезис Первой Мировой войны), то в таком случае указание на исконность этой фундаментальной историографической метафоры, а также разнородности конкретизации ее смысла в отдельных вариантах исторического мышления становится пробным камнем историчности, с которой мы имеем дело в конкретной фазе развития историографии и исторического мышления.

**К. Р-В.:** *Со времени «Истории – Культуры – Метафоры» за характерный аспект теоретических построений ее автора принимается идея культурной импутации. Как Вы истолковали бы ее сегодня?*

**В. В.** Да, как кажется, я расширил контекст осмысления идеи культурной импутации. Я уточнил ее, во-первых, указав ее специфические измерения и формы, а во-вторых, отнеся эту идею к концепции дуализирующего способа мышления и говорения Йозефа Миттерера.

**К. Р-В.:** *Случалось, что в ходе дискуссии о некоторых Ваших концептах, которые направлены на описание многих проявлений историографической практики, оказывалось, что данные концепты, с одной стороны, вполне могут охватить различные проблемы, с другой – являются внутренними концептуальными сплетениями, осуществляемыми на различных уровнях проблематизации.*

**В. В.:** Такие прочные категории, как концепт *метафоры*, *дуализирующее мышление* Йозефа Миттерера, *культурная импутация* открывают возможность относительно целостного описания историографической операции. Я это делаю так, чтобы пропагандировать более общую идею о том, что практика исторического мышления, независимо от его исторической случайности, подчиняется определенным культурным правилам. Это они определяют, что акт историографического мышления мы опознаем как таковой. У него есть специфическая идентичность, и более того, он поддается описанию как рациональный мыслительный акт, по крайней мере, он предстает таковым, когда подлежит ex post методологической реконструкции или культуроведческому описанию.

**К. Р-В.:** *Это тезис о логичности исторического мышления или культуры вообще?*

**В. В.:** Конечно, я допускаю в своем роде рациональность, если я делаю то, что я делаю, то есть если я ищу в историческом мышлении какую-то внутреннюю логику. И все же нет – поскольку я отстаиваю некоторый онтологически-метафизический тезис о природе исторического мышления. Я отдаю себе отчет, что осуществляю рациональную интерпретацию, но именно так я представляю себе задачу осмысления стихийного исторического сознания. Оправданием для таких действий служит убеждение в том, что польза от смыслонаделения исторического отношения к культуре, которую, по сути, приносит историография, возникает из убеждения в том, что культурная коммуникация должна длиться до тех пор, пока мы можем говорить о сохранении человеческого рода. Без участия содержания (сложившихся смыслов), происходящего из прошлого и к нему относимого, невозможен публичный дискурс и невозможна реализация конкретных социальных практик. Историография – это форма преобразования коллективной памяти, а та является памятью культуры, без которой была бы невозможна как социализация личностей, так и сохранение устойчивости социальных институций и форм коллективной жизни. Отсюда следует особая задача профессиональной историографии. Академическая историография – это специализированный, профессиональный ответ на необходимость подзарядить культурную коммуникацию семантикой той культуры, резервуаром которой она является.

**К. Р-В.:** В книге «Об историческом мышлении», которая, по Вашему мнению, могла бы называться «Измерения исторической истины», подняты проблемы тенденциозности, этноцентричности историографии, идея прикладной истины, метафорическая концепция истины и т.д. Короче говоря, различными способами выражена концепция истины. Обычно функцию истории определяют не так, как Вы это только что сделали.

**В. В.:** Провозглашают, что необходима истина о прошлом, так как, например, *historia magistra vitae est*. От моего определения функции историографии в культуре до античной максимы в ее обыденном современном понимании опять же не так далеко. В последнем делается акцент на том обстоятельстве, что опыты прошлого, познанные и освоенные современностью, являются для нас источником уроков. Эти опыты являются таковыми, потому что они объективно оцениваются, критически диагностируются. Короче, как говорят, потому что они истинны. Как считается, они открывают возможность проектировать желательные поступки и действия, в том числе предпринятые (как хотелось бы классической историографии) историческими субъектами. Мало того, что история предлагает как бы уроки для индивидуальных человеческих позиций, она кроме того предлагает знание об обстоятельствах, поступках и последствиях поступков, творцами которых являются исторические субъекты: государства, нации, различные субъекты политические, социальные, культурные *tout court*. История, а речь здесь идет о классической истории в моем понимании, то есть история, воображаемая широкими массами и обыденно понятая, легитимизирует и делегитимизирует прошлое на пользу современности (и возможно, будущего), определяет, какие исторические поступки достойны почитания, а какие забвения. Этот диагноз, который может быть энтимематическим, а может быть явным, сопровождается со стороны историка и читателя его работ представлением о желательном порядке мира вместе с органично сопутствующей ему системой ценностей, которые заслуживают реализации, причем в равной мере, так называемых универсальных ценностей и прозаических, превозносящих непосредственно практические действия. К этому воображаемому порядку относятся феномены и события (происшествия) из прошлого.

**К. Р-В.:** *В сциентистской историографии, называемой Вами модернистской, иная ситуация, потому что она обычно не занимается политикой?*

**В. В.:** Да, но не только, или, возможно, не прежде всего поэтому. Неклассическая история, например, модернистская, т.е. история à la Бродель, в своем классическом обличье осуществленная в «Средизем-

ном море» Броделя, тем отличается от классической историографии, что первая сосредоточивает свое внимание на социальных явлениях, на несубъектных феноменах. Таким образом, не происходит непосредственной антропоморфизации представляемого мира, социальные феномены, и в том числе исторические процессы, не подлежат валоризации в категориях ценностей, провозглашаемых в образах мира обыденного сознания. Их валоризация непосредственно не относится к ценностям, связанным с активностью, опытом и сознанием личностей. Поэтому у нас возникает впечатление, что исторические образы, представляемые социальной историей, аксиологически относительно нейтральны. Таким образом, мы редко слышим, чтобы историческую демографию или экономическую историю осуждали за тенденциозность.

**К. Р.-В.:** *Чего можно ждать в ближайшем будущем?*

**W. W.:** Последовательного поиска культурной легитимизации классической истории и ее особенно элитарного вида, каковым является национальная политическая историография. Я ищу ответа на вопрос, почему в научном, художественном и политическом споре историографии остаются соседками. Мне недостаточно ответа, что судьбы соседних наций / государств сплетены различно представляемым драматичным прошлым. Я ищу также ответа на вопрос о так называемой культурной тенденциозности историографии. По сути, это все время один и тот же вопрос об основаниях исторического мышления. Меня интересуют культурные источники древнейших, самых устойчивых мыслительных фигур исторического мышления. Сверх того, я занимаюсь истолкованием генезиса и изменения идеи и роли источниковости в историографической операции. Я ищу ответа, почему естественный реализм (в смысле Пютнама) является настолько могущественным стилем мышления историков. Здесь, как и в предыдущих проблемах, мы приближаемся к истории субъектно-объектной стратегии познания, которую принимают историки. Я спрашиваю, с какого времени и почему возникла такая стратегия, а также каковы ее последствия для исторической литературы.

**К. Р.-В.:** *То есть можно надеяться на продолжение этой же книги или на третий том?*

**W. W.:** Может быть и то, и другое.

## Часть II

# ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТОРИКИ О СВОЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ И ПУТИ В НАУКЕ

### *Вводные комментарии Г. Н. Канинской*

Не будет преувеличением сказать, что на протяжении XX века французская историография занимала одно из ведущих мест в мировой исторической науке и по праву считалась одним из ее «становых хребтов». Справедливо и то, что отечественным историкам всегда была присуща «особая чувствительность» по отношению к французской исторической мысли и ее мэтрам. Пальма первенства в этом ряду принадлежит созданной Марком Блоком и Люсьеном Февром в 1920–1930-е гг. «школе Анналов», у представителей которой уже существует «пятое поколение». Известно, что с 1980 и до 1996 г. «четвёртым поколением» руководил Бернар Лепти. Кто возглавляет «пятое поколение» «Анналов», не очень ясно, и вообще вопрос о том, можно ли твёрдо утверждать о прежнем влиянии Школы вызывает дискуссии среди французских историков по причине того, что носители её традиции разобщены. А с именем представителя «второго поколения» этой Школы Фернана Броделя связано прочно утвердившееся в научной среде трёхмерное деление истории на глобальную/долгую, среднего и короткого времени. Для развития многостороннего научного сотрудничества историков из разных стран Фернан Бродель в 1968 г. инициировал создание Дома наук о человеке (MSH), расположенного в Париже в едином строительном комплексе со Школой высших исследований по социальным наукам<sup>1</sup>, выросшей, в свою очередь, из VI секции Практической школы высших исследований, во главе которой изначально стояли Марк Блок и Люсьен Февр.

Не ускользали из поля зрения наших историков, а главное – от осмысления – и другие «методологические повороты» и поиски фран-

---

<sup>1</sup> Это дословный перевод, а ещё её называют короче – Высшая школа социальных наук (EHESS). В тексте мы будем использовать оба полных названия, в соответствии с тем, как это произносили собеседники.

цузской историографии, зародившиеся во временном отрезке 1960–1980-х годов в недрах «новой» и «постмодернистской истории», такие как «новая политическая», или «политико-культурная» история, неразрывно связанная с именем Рене Ремона, начавшего «бои» за политическую историю на гребне дискуссий со «школой Анналов» и набравшей силу в 1970-е гг. социологией, а также «культурная история», у истоков которой в 1980-е годы стояли Паскаль Ори и Франсуа Сириелли, внося «французскую лепту» в лингвистический поворот мировой исторической науки. В этой же связке следует упомянуть концепцию «глубинных факторов» в международных отношениях, разработанную признанными в мировом масштабе теоретиками Пьером Ренувеном и Жан-Батистом Дюрозелем.

Отметим также, что, начиная с последней четверти XX века, исторические дискуссии стали в значительной мере интернациональными, появилась возможность свободного обращения идей и книг, и российский читатель может самостоятельно ознакомиться с творчеством выдающихся французских мыслителей в области истории благодаря переводам их сочинений на русский язык.

Несмотря на то, что во Франции прочно закрепилось слово «школа» применительно к последователям М. Блока и Л. Февра, продолжающим своё творчество в научных коллективах EHESS и MSH, наследники творчества Р. Ремона и П. Ренувена, а также Ж.-Б. Дюрозеля, развивая их идеи, тоже имеют своеобразные «центры мысли» в парижских институтах. Первые трудятся в Институте политических наук (IEP), широко известном во Франции под сокращённым названием Sciences-po, куда Р. Ремон пришёл в 1968 г. со своим учеником С. Берстайном из университета Париж-Х, Нантер, оставив и там группу единомышленников: Ж. Лё Бегека и др. В Sciences-po по сей день работает ещё один последователь Р. Ремона – Ж.-Ф. Сириелли. Ещё одним местом, где находится один из ведущих французских центров по истории международных отношений, по праву считается университет Париж-1, Сорбонна. Его открыл и возглавлял на протяжении всей своей научной карьеры П. Ренуven, а теперь центр носит его имя.

Подчеркнём также, что трудятся представители ведущих направлений современной французской историографии по всей своей стране и за её пределами, и в том числе выступают с лекциями и докладами на конференциях в России.

Настоящий текст предполагает не анализ концептуальных основ и методологических подходов французской историографии (они изучены и изложены в работах Л.П. Репиной, В.П. Смирнова и др. отечественных специалистов), а представляет собой синтез цикла интервью с французскими историками, собранных во время неоднократных

научных стажировок автора, предоставленных Домом наук о человеке в 2009–2014 гг. Выбор интервьюируемых носит исключительно «личностный характер», беседы велись с французскими коллегами, с которыми автору, будучи специалистом по новейшей истории Франции, удалось познакомиться и сотрудничать, начиная с 1990 г., в Sciencespo, в MSH и EHESP, а также в университете Париж-III, Новая Сорбонна. Частично в разных форматах тексты интервью публиковались в разное время в журнале «Диалог со временем», тогда как интервью, собранные в 2014 г., вводятся в научный оборот впервые.

Французским историкам было предложено ответить на следующие вопросы: *Что побудило Вас стать историком? Каков был Ваш профессиональный путь, и какое влияние оказала Ваша семья на выбор профессии? Назовите ученых, наиболее сильно повлиявших на Ваше профессиональное становление. Как Вы оцениваете эволюцию французской историографии на протяжении последних 30 лет? Какие новые тенденции Вам хотелось бы в ней выделить, и какие из них наиболее Вас привлекают? На Ваш взгляд, существуют ли сегодня национальные исторические школы, например, французская, американская, немецкая и др.? Чего, на Ваш взгляд, сегодня не хватает французской историографии, и какие новые подходы Вам хотелось бы в ней развивать?* Отвечали в произвольной форме: Ж.-Ф. СириNELLI и С. Жансен предпочли ответить письменно, к тому же СириNELLI для большей полноты информации подарил автору свою книгу «Понять французский XX век»<sup>2</sup> где во Введении (на стр. 7-54) подробно описал свой творческий путь.

Всего приводятся *девятнадцать интервью*, которые можно условно разделить по шкале «поколенческо-тематической», так как среди тех историков, кто любезно согласился побеседовать, были такие именитые представители «третьего поколения» школы Анналов, как *М. Эймар* и *П. Нора*, снискавший признание не только у нас, но и в мировом научном историческом сообществе благодаря тому, что первым предложил новое, не утратившее актуальности и по сей день, направление в «новой политической истории» – изучение «мест памяти». Наряду с ними – соратники и единомышленники Р. Ремона – *С. Берстайн*, *Ж. Лё Бегек*, *Ж.-Ф. СириNELLI*, которого неизменно цитируют в числе французских зачинателей «культурной истории», а также тех, кто на её основе обогатил «новую политическую историю», *Ж.-Н. Жанненэ*, бывший министр культуры в правительстве Ф. Миттерана, отвечавший в этом ранге за празднование 200-летия Француз-

<sup>2</sup> Sirinelli J-F. Comprendre le XX-e siècle français. P.: Fayard, 2005.

ской революции 1789 г., прежде директор Национальной библиотеки им. Ф. Миттерана, Дома Радио, а ныне ведущий авторскую передачу на радио «Франс-кюльтюр», развивая таким образом свою исследовательскую стезю на ниве «новой политической и культурной истории». К числу маститых международников, бывших учеников Ж-Б. Дюрозеля принадлежат почётные профессора соответственно Sciences-po, Париж-III, Новая Сорбонна и университета г. Страсбург: *М. Вайс*, ответственный руководитель группы по публикации документов МИД Франции, *Э. дю Рео*, и *Ж-К. Ромер*. В этой же плеяде упомянем *Юмту Шерпер* – специалистку по российской истории из EHESS, а также *Э. Роули*, «прикипевшего» к Франции и французской истории англичанина, до ухода из жизни в 2011 г. возглавлявшего исторический отдел во влиятельном французском издательстве «Сей» и одновременно сотрудничавшего с известным издательством «Файяр».

Учениками упомянутых и других мэтров (о чём каждый из них рассказывает в данных интервью), представляющими более молодое, но уже признанное во Франции и в мировом научном сообществе поколение французских учёных, являются: *М. Лазар*, *И. Коэн*, *М.-П. Рей*, *Л. Бадель*, *Я. Дез*, *С. Жансен*, *П. Гроссер*. Несколько «выпадает» по научному размаху, но тем не менее, на наш взгляд, интересно, с точки зрения преподавательской, интервью с *Ш. Морель*, относящейся также к этому поколению исследователей.

Рассказы французских историков о себе приводятся в соответствии с их собственной теоретико-методологической идентификацией и сплошным текстом. Предваряя содержание следующих ниже интервью, отметим, что на их основе можно проследить, как создавался, совершенствовался и расширялся научный инструментарий исследовательского исторического поля во Франции. Проблематика французской историографии второй половины XX – начала XXI в., раскрытая в интервью, многогранна: это «история цивилизаций», «историческая память», политическая история, представленная через «политико-культурный» и социокультурный ракурсы, и собственно «культурная история», «репрезентации и образы» в истории (в том числе в международных отношениях), наконец, недавно утвердившаяся в правах «транснациональная» история. Любезно согласившиеся рассказать о своём профессиональном выборе, о влиянии мэтров-учителей, собственной научной карьере, а также проблемах, с которыми они сталкиваются, французские историки не могут не вызвать читателя на размышления и самостоятельные выводы о значении исторической науки сегодня, о степени важности фундаментальных трудов по истории – коллективных или индивидуальных, о сходствах и различиях «национальных исторических школ», необходимости и пользе зарубежных

контактов, равно как об историописании в целом и о роли и качестве преподавания исторической дисциплины.

Учитывая время сбора интервью, некоторые их авторы уже покинули занимаемые ими на то время посты, но с уверенностью можно сказать, что это вряд ли изменило их историческое мировоззрение.

\* \* \*

*Морис Эймар, интервью записано 7-10 декабря 2011 г. в Доме наук о человеке (MSH) в Париже*

Мой выбор профессии историка был продиктован семейным происхождением. Я внук историка времен Третьей республики. Дед мой был учителем, потом инспектором по начальному образованию при Академии наук, писал учебники по преподаванию истории в начальной школе. Отец мой был профессором истории Древнего мира в университете. То есть я рос в семье, где говорили об истории, дискутировали на исторические темы, где водились книги по истории. Зачастую говорили о политике, о проблемах современной истории, Второй Мировой войне, холодной войне, о партиях. Два обстоятельства повлияли на мой выбор. Во-первых, отец мой не хотел, чтобы я, как и два моих брата, повторяли его профессиональный путь. Братья последовали советам отца, выбрали другие профессии, а я, заключив компромисс с отцом, в 1957 г. прошел конкурс в Высшую нормальную школу<sup>3</sup>, где выбрал специализацию по истории. Отец согласился с моим выбором, но сказал, что не хотел бы, чтобы я занимался древней историей. А я все же начал ей заниматься. Однако, учась в Эколь нормаль, в конце первого года я стал колебаться, задумываться о будущей карьере и решил поступать по окончании в ЭНА<sup>4</sup>, что было тогда очень популярно у моего поколения. Поэтому с 1958 г. я приступил к более серьёзному изучению не истории, а административных наук. К тому же мне не хотелось заниматься историей Франции, потому что тогда особенно популярна была история Французской революции, и тему эту крайне политизировали, проходило много острых дискуссий, в которых мне совсем не хотелось участвовать. И я вдруг решил изучать турецкий язык, чтобы специализироваться по истории Османской империи. Это был поистине мой первый личный выбор.

<sup>3</sup>Высшая нормальная школа (сокращённо Эколь нормаль) входит в число элитных высших учебных заведений страны, для поступления в которые надо, в отличие от университетов, сдавать экзамен. Выпускников называют «нормальными».

<sup>4</sup>ЭНА – Национальная школа администрации; создана в 1945 г. для подготовки кадров государственной службы, или государственной элиты. Поступают в неё по конкурсу после окончания высшего учебного заведения и обучаются два года. Выпускников называют «энарки».

Ко второму году обучения в Эколь нормаль в моём историческом самосознании всё перевернулось и определилось после встречи с профессором Ф. Броделем. Он тогда был профессором в Коллеж де Франс<sup>5</sup>, работал в Практической школе высших исследований, а в нашу школу был приглашен инициативной группой молодых специалистов, причем не только историков, но и социологов, географов, вышедших из Эколь. Это было новое поколение молодых людей, рожденных между 1920–1925 гг., так что после Второй Мировой войны им было лет по двадцать. В их числе социолог А. Турен, историк Ж. Ле Гофф и др. Они написали директору Эколь нормаль философу Ж. Ипполиту, специалисту по Гегелю, письмо с просьбой организовать цикл лекций, приглашая для чтения на каждую уже зарекомендовавшего себя тогда в научном мире специалиста, причём не только по истории, а вообще по гуманитарным наукам. Это было в 1958 г., когда Ф. Бродель в «Анналах» опубликовал свою программную статью по истории и социальным наукам об истории большой длительности. Причем я тогда не очень хорошо знал его труды. Про Средиземноморский мир, например, книгу ещё не прочел. Да и много университетских профессоров критиковали тогда Ф. Броделя, не совсем принимая его идеи. Его труды называли чересчур общими, литературными, поверхностными. После лекции я заговорил с Ф. Броделем, рассказал, что занимаюсь Османской империей, и он мне предложил встретиться, а во время встречи – работать вместе с ним, поискать стипендию для поездки в Венецию, где посоветовал собирать источники по торговле хлебом в Средиземноморье. Так, с февраля 1958 г. я начал работать с микрофильмами, пришедшими из архива Венеции, по ним изучал итальянский. А с августа 1958-го и до февраля 1959 года я работал в архивах Дубровника, в Турции, потом в Греции и Венеции. Эти шесть месяцев привили мне вкус к историческим исследованиям.

Именно Ф. Бродель меня сделал историком. Причем меня интересовала не лекционная работа, а именно исследовательская. Я стал специалистом по истории капитализма в средневековой Европе в начале Нового времени, защитив диплом DES<sup>6</sup> объёмом в 200 страниц. Но я продолжал посещать семинары Ф. Броделя и после получе-

<sup>5</sup> Коллеж де Франс – высшее учебно-исследовательское заведение Франции, звание профессора в нем считается одним из самых высших отличий в области французского высшего образования.

<sup>6</sup> DES – Диплом специализированной подготовки. До перехода Франции на Болонскую систему был вторым типом подготовки специалистов после университетов наряду с DEA – Дипломом углубленного изучения. Предполагалось, что получивший диплом DES, не намеревается писать диссертацию, тогда как за дипломом DEA автоматически должно было последовать написание диссертации.

ния диплома, прочел, наконец, его книгу о Средиземноморье. Словом, я нацелился на исследовательскую работу. Ф. Бродель своими трудами убедил меня ещё и в том, что историю надо писать не скучно, а живо и элегантно. Исторический труд должен быть написан, как роман, но оставаясь при этом трудом научным. Он учил, что надо писать так, как будто ты вообще пишешь первым на этот сюжет. Тогда это было очень необычно. Не в чести у университетариев был такой стиль историописания. В университетах тогда преподавание было весьма школярским, требовалось повторять и заучивать. Мало места отводилось личным размышлениям. От Ф. Броделя я проникся убеждением, что писать об истории можно с удовольствием. К тому же он и новый тип исследований предложил, т.е. историю экономическую, освобожденную от влияния религиозных, политических, военных напластований. Напротив, он показал большую роль в развитии капитализма крупной торговли, банков и торговцев. И в 1950–1960-е гг. эта экономическая история сыграла важную роль в изучении прошлого, она обогатила это изучение постановкой историками новых вопросов. «Новая экономическая история» постепенно привела к обновлению преподавания и в Сорбонне. Например, там профессор Альфонс Дюфур, специалист по истории крестовых походов, стал представлять их через призму религиозной антропологии. Клод Леви-Стросс обновил метод, начав изучать мифологию, историческую антропологию. Словом, тогда историческая наука очень обогатилась новыми научными подходами. И все эти ориентации наметились благодаря Ф. Броделю.

Я тоже смог найти свое направление, не желая участвовать в разворачивавшихся в то время дебатах вокруг Французской революции, в которых лидировала Компартия во главе с одним из крупных историков А. Собулем. Я же начал заниматься Средними веками, которые в то время не очень котировались. Причём я убедился в том, что надо выходить за рамки национальной истории. Я отправился работать над документами по истории торговли, банков в итальянские архивы. Работа в итальянских архивах открыла мне мир, и я раскрылся как специалист. Средиземноморский мир представился мне с разных сторон, я начал задаваться вопросами о Ренессансе Европы. Через этот сюжет стала просматриваться перспектива перехода к изучению мира Атлантики, других частей света. Такой исследовательский разворот требует чтения трудов на иностранных языках, встреч с коллегами из других стран. А преподавание в то время у нас, даже в Сорбонне и Эколь нормаль, было слишком ограничено национальными рамками. Я, кроме как у Ф. Броделя, ни одного курса не могу припомнить, где бы преподавал приглашённый иностранный профессор. Это было возможно тогда лишь у географов, но не у историков. Даже если и читали курсы

по истории США или России (особенно по России часто читали преподаватели с русскими корнями, которые могли читать по-русски), то все равно их препарировали через видение национальной французской историографии. Благодаря Ф. Броделю, я сделал выбор в пользу открытости мира истории и историков. Отказался я также и от административной и политической карьеры, о чем, впрочем, и не жалею.

Так начал я заниматься историей, причем с методологической точки зрения взял курс на сближение её с экономикой, антропологией, археологией.

В 1968 г. произошел крупный поворот в исторической науке в плане ее сближения с исторической антропологией. Естественно, у антропологов другой объект исследования, равно как и другие методы. Но один из главных методов у антропологии историки позаимствовали. А именно: задаваться вопросом о том, как можно изучать такие стороны жизни человека, по которым не существует прямых письменных документов. Например, как понять историю жизни семьи, взаимоотношений в ней? Это можно изучать, лишь наблюдая поведение людей, а потом делать обобщения, находя различия между регионами и разными социальными группами. То же можно сказать о вкладе антропологии в изучение религии. Благодаря антропологии, расширились наши представления о культурных моделях общества, традициях. А археология примерно таким же образом обогатила изучение истории развития техники.

Если говорить о том, что привнесла броделевская история в преподавание, то скажу следующее. Раньше историю объясняли, основываясь только на том, о чем можно было прочесть в источниках, то есть, с чем события и процессы можно было идентифицировать. Для достоверности требовалось также ссылаться на труды предшественников. Сегодня, благодаря методам археологии и антропологии, к преподаванию истории широко привлекаются новые источники. А это, в свою очередь, позволило углубиться в изучение весьма отдалённых периодов истории, и главное – провести параллели с нашими днями. Иными словами, с 1960–1970-х гг. историческое знание не основывается теперь лишь на письменных источниках, что позволяет исследователям прочувствовать, ощутить человеческую жизнь во всём многообразии. Возьмём такой пример, как история браков. Изучая их, можно увидеть региональные особенности и понять, почему выбирали тот или иной тип брака. Теперь существует возможность изучать культуру поведения через историю, рассматривая, например, как Вы пьете кофе, как жестикулируете. Ф. Бродель в первую очередь интересовался материальными вопросами, изучая историю долгого

времени. Этой долговременной истории присуще длительное социальное поведение. И меняется она более медленно, чем другие стороны жизни человеческого общества.

В 1970–1980-е гг. во Франции сложились многочисленные исследовательские группы, работавшие в новом направлении. В Европе и США история как научная дисциплина начала интернационализироваться. Стали приглашать французских профессоров в американские университеты, в Канаду, Бразилию, Германию, Испанию, Италию. Словом, мои коллеги, начиная с 1970-х годов много выезжали за границу. Так французская историографическая школа установила контакты с другими историческими школами. Причем до середины 1980-х к ней относились в мире с большим почетом, её методам следовали. Особенно многочисленные американские ученые – историки и социологи. Под влиянием французов появилась итальянская микроистория (Карло Гинзбург и др). В самой Франции и в Германии появились новые интерпретации истории, например, история повседневной жизни. Это ведь новый тип историописания. Появились параллельные, сравнительные исследования. Таким образом, наступил период открытости истории, её новые идеи и подходы распространились в мировом масштабе. Например, состоялось действительное примирение франко-германской историографии. До этого ведь очень редко французские историки, занимавшиеся немецкой историей, интересовались трудами немецких коллег. В основном интерес к Германии проявлялся в филологии. С итальянской историографией примирение произошло еще раньше. Затем возник интерес к истории Индии. Ставился вопрос о том, как страна с такой длительной историей колонизации со стороны Англии, смогла сохранить английское интеллектуальное влияние, не оставшись в то же время в стороне от влияния марксизма. Подобным же образом сложился интерес к истории Китая.

В 1970-е годы установились контакты с польскими, венгерскими историками, которые, хотя и были воспитаны в духе марксизма, с огромным желанием открывались миру. Среди таких польских историков был, например, будущий политик Бронислав Геремек, который учился во Франции еще в 1950-е годы. Он изучал маргинальные слои, что для марксистской историографии было необычным, ибо она изучала историю классов. В то время было очень важно и своевременно изучать социальную историю через маргинальные слои, чтобы показать и понять сложившиеся в обществе различия. Словом, это был нетрадиционный марксизм. Б. Геремек – очень важный и показательный пример, так как в постсоветской Польше он оказал заметное влияние на внешнюю политику своей страны. Он был больше попу-

лярен за границей, чем в Польше. С Россией, хотя и медленнее, но тоже постепенно стали налаживаться контакты историков с 1980-х гг. В числе первых, с кем они возникли, был А. Гуревич. И тогдашнее руководство Академии наук СССР охотно шло нам навстречу. Начались взаимные приглашения на конференции. Иными словами, связи между французскими и советскими историками установились задолго до 1989 года. В частности, советские историки приезжали на конференцию по «Анналам».

Благодаря расширению контактов и познавательных горизонтов и политическую, и военную историю стали изучать по-иному. Исследователи обратились к новым проблемам, задавались новыми вопросами. Появилось «второе поколение» историков после Л. Февра и Ф. Броделя: Ж. Ле Гофф, А. Турен, хотя он социолог, Ф. Фюре. Словом, история задвигалась, оживилась. Так, благодаря Ж. Ле Гоффу, перестали смотреть на Средние века как на переход от Античности к Новому времени и признали за этим периодом истории право на собственную жизнь, структуру и культуру и ринулись его активно исследовать. Я думаю, что связь истории с другими социальными науками (антропологией, социологией, лингвистикой) уже неразрушима. Это важное достижение исторической науки в целом. Это дает возможность по-разному представлять историю. Расширяются горизонты познания истории. В частности, через повседневную жизнь. Сегодня, как мне думается, все историки выступают за междисциплинарность в исследовательских подходах.

В 1950–1960-е годы экономическая история играла важную роль в изучении прошлого, она обогатила это изучение постановкой историками все новых вопросов и новыми открытиями. А сейчас она несколько забыта именно потому, что сама превратилась в дисциплину сплошного повторения и заучивания. Сегодня экономическая история нуждается в обновлении. А если говорить о национальных особенностях французской историографии, то к ней вполне можно применить формулу Ф. Фюре, высказанную им по случаю 200-летия Революции 1789 года – об окончании французской исключительности. С другой стороны, во Франции издается много книг по истории, и у населения есть к ним интерес. В последнее время немаловажную роль в оживлении философского характера дебатов об истории играет итальянская историография. Там проводится много интересных конференций. Вообще, благодаря интернационализации, переводам научных трудов, взаимным встречам и контактам различия между национальными историческими школами исчезают. Они сближаются. Остается, правда, для европейской исторической школы весома проблема – перевод трудов её авторов на английский язык, который теперь стал языком

международного общения. Важно знать и славянские языки: русский, польский. Знания иностранных языков сегодня явно не хватает французским историкам. К тому же немало еще специалистов остаются замкнутыми на изучении истории лишь собственной страны. Выход европейской историографии на другие исторические школы необходим. Например, китайскую и российскую.

Хочу отметить, что российская историография прошла несколько крупных этапов или моментов в развитии. В дореволюционный период существовало немало известных в мире русских историков, например, Н. Кареев. Революция привела к разрыву. Те, кто в эмиграции делал карьеру, так и продолжали считаться русскими историками по причине происхождения. Из тех, кто остался в России, за её пределами известен был Е. Тарле. Второй разрыв произошел в 1990-е гг., когда пал коммунистический режим.

Ведь в советский период ваша историография отгородилась от мировой. Историки в то время занимались собственной революцией и тем образом, который ей навязывал политический режим. Они все время обязаны были ссылаться на марксизм. Хотя и тогда у вас были специалисты, изучавшие другие страны и проблемы: Б. Поршнев, А. Гуревич. Изучали, в частности, проблемы всемирной истории Средних веков. Однако эти темы не вписывались в официальную историю. А когда произошла перестройка и открылись архивы, наоборот, мы, западные историки, все увлеклись советским периодом и ринулись в ваши архивы. Не знаю, так ли в то же время эти архивы интересовали русских историков. А у российских историков открылась возможность и появилось желание ездить по миру. XX век очень важен для российских историков. В это время отечественная история снова воссоединилась: те, кто оказался в эмиграции, хотя бы в своих трудах возвращались на Родину. Отмечу еще один парадокс периода разрыва между историографией советской и мировой. Те, кто у нас занимался Византийским периодом, знали греческий язык, но не знали русского. А у вас ведь были тогда крупные византилисты.

Думаю, что у нас в принципе, в школах и лицах отводится должное место истории. В начальной школе по важнейшим событиям изучают лишь историю Франции. В лицее уже углубленно изучают историю свою и всемирную. Она преподается в сравнительной перспективе по отдельным темам. Например, история индустриализации. В университетах на исторических факультетах наряду с историей изучают много других общественных наук: социологию, политическую историю и т.д. Но такой набор дисциплин предлагается лишь тем, кто специализируется по новейшей истории, т.е. по XX веку. Не думаю, что я очень хорошо понял Болонскую систему, какой у нее смысл. Что

в ней представляется мне интересным, так это система разработки лекционных курсов. В мое время общие курсы читались традиционно, в строгой хронологической последовательности, а теперь профессора трактуют проблемы по-разному. Например, в курсе по истории международных отношений в 1939 году можно поставить проблему «истории страха», «истории детей» и т.п. Теперь преподавание истории не сводится только к изучению фактов, в нём можно затрагивать разнообразные темы.

*Пьер Нора, интервью записано в издательстве «Галлимар» в Париже 19 мая 2010 г.*

Итак, каков мой путь? Я начал одновременно с историей изучать литературу и философию, а потом, в 1958 г., сдал агрегационные экзамены<sup>7</sup> по истории в Сорбонне. Затем меня призвали на военную службу в Алжир. К тому времени, благодаря успеху «школы Анналов», история начала занимать гораздо более важное место, чем философия и литература. Все, что я постиг в то время из истории – благодаря «Анналам», хотя это не была ни новейшая история, ни национальная, ни, тем более, политическая история. А меня всегда, еще со школьной скамьи, интересовала национальная новейшая история. Через алжирскую войну у меня, как и у всего моего поколения, возник интерес не только к проблемам колониализма, но и в целом к проблемам коммунизма, голлизма, холодной войны. Эти проблемы будоражили наше сознание. Так что долгое время в профессиональном плане я витал между моим особым интересом к новейшей политической национальной истории и интересом к «школе Анналов». А потом я пришел в этот издательский дом «Галлимар». Тогдашний главный редактор сказал мне, что они очень преуспели в издании литературных произведений, плодотворно печатая книги А. Мальро, А. Жида, но существует лакуна в выпуске литературы интеллектуального жанра, ибо до сих пор издательство не опубликовало труды ни К. Леви-Строса, ни Ж. Лакана, ни Ф. Броделя. Я же к тому времени уже имел некоторый опыт в этом деле, работая в издательстве «Жюльяр» и начав там публикацию книг карманного формата под общим серийным названием «Архивы». Книги для этой серии писали лучшие в то время историки, посвящая их разным новым, подчас острым историческим сюжетам, и потому эти книги имели большой успех у читателей. Среди авторов назову Ж. Озуфа, опубликовавшего из архивов

<sup>7</sup> Агрегационные экзамены во Франции (сокращённо – «агрегасьон») – это двухуровневые экзамены, дающие право на преподавание в старших классах лицея и в высшей школе. Готовятся к ним после записи год.

директивы Коминтерна, посылавшиеся во Францию в 1920-х гг. Также появились первые книги об «Аушвице» и т.д. Собственно, благодаря этому моему успеху «Галлимар» и обратился ко мне. Так я возглавил в издательстве отдел «Общественные науки» и сразу начал публиковать труды М. Фуко, Р. Арона, Ж. Ле Гоффа. Опять дело пошло успешно, и, если честно, мне доставляло гораздо больше удовольствия править их тексты, чем тексты студентов.

Хотя я долго преподавал в Sciences-po новейшую историю, потом меня избрали в «Высшую школу социальных исследований», где я смог полностью раскрыть мой научный потенциал. Тогда я начал работать над изучением национальных чувств. И начал с изучения личности и творчества Э. Лависса, маститого ученого XIX века, создавшего новую Сорбонну и написавшего для средней школы учебник по истории, на котором воспитывалось целое поколение французов с 1900 до 1914 гг. Это был очень националистический и республиканский учебник, так что можно сказать, что это Лависс выиграл Верденское сражение. Более того, из-под пера Э. Лависса вышел огромный 27-томный труд по истории Франции, который вобрал в себя все достижения исторической науки за первые 20 лет XX века и публиковался на протяжении 1902–1922 гг. Этот труд долгое время оставался главным мерилом, которому надо было следовать, освещая историю Франции, и нельзя было оспаривать его оценочную часть. Надо сказать, что влияние этого труда не изжило себя в нашей стране до сих пор. Таким образом, интерес к национальным чувствам пробудился во мне именно благодаря Э. Лависсу.

Однако, как только я начал трудиться в «Высшей школе», я подумал, что важнее изучать национальные чувства не посредством изучения идей, а попытаться подойти к их пониманию и объяснению, изучая те места, в которых концентрируется национальная идея. Начал я с простого: с изучения имен улиц в Париже, памятников, ассоциаций ветеранов. Ведь все эти объекты являются, по сути, инструментами передачи национальной идеи, особенно наглядно проявляющимися во время празднований. И тут я заметил, что такие символы, как Марсельеза, французский флаг, день 14 июля (особенно два первых символа), никогда специально не изучались историками. О Марсельезе писали только музыковеды, о флаге – несколько вышедших на пенсию генералов времен Первой мировой войны, тогда как специалисты по новейшей истории обо всем этом не писали. Тогда я и начал свой эксперимент, попытавшись сконцентрировать внимание на интересующих меня проблемах в годы III и IV Республик, поскольку специализировался на их истории. Начал с необычных сюжетов, например, с изучения девиза: «Свобода, равенство, братство». Привлек мое

внимание как исследователя также и Пантеон. А логическую цепочку моих рассуждений хочу раскрыть на банальном примере – гонке велосипедистов «Тур де Франс». Как связать ее с историей? Во-первых, примечательно само время ее становления – 1903 год. В этот же год Э. Лависс начал издавать свою «Историю Франции», попросив крупного географа П. Видаля де ла Бланша написать для книги часть по географии Франции. Само по себе это уже имело огромное значение, ибо заказ был не на простое географическое описание страны, как это делалось раньше. По настоянию Э. Лависса, во главу угла была поставлена Франция, такая разная страна в региональном, этнографическом плане. И «Тур де Франс» предоставил блестящую возможность через популяризацию поездок по стране объединить народ. Таким образом, гонка оживила не только спорт, но и историческую память. Известно, что де Голль знал наизусть труд П. Видаля де ля Бланша. Во-вторых, с «Тур де Франс» можно связать еще одно историческое явление. В средние века, примерно с XIV века, ремесленники, чтобы узнать, что происходит в других ремесленных цехах, засылали туда своих агентов, порой нелегально, и таких агентов называли «Компаньоны де тур де Франс». Получается, что традиция «разузнавания» через поездки уходит своими корнями в более глубокое прошлое. Нельзя не обратить внимание на еще один интересный исторический факт. Велосипед представляет собой вид транспорта народного, а для знати предпочтительней было передвигаться на лошадях. Следовательно, появление в нашей жизни «Тур де Франс» означало конец аристократической и начало народной Франции. В итоге мы можем проследить в «Тур де Франс» сплетение народной Франции, Франции рабочих и, в известной мере, тайной, нелегальной. В наши дни к этим характеристикам следует добавить еще «эффект масс-медиа». Так, мы можем обнаружить очень много интересного вокруг этого «Тура» с точки зрения исторической памяти. Существует масса других примеров подобного рода, ставших частью символической истории.

Вот таким образом через 10 лет я послужил обновлению подходов к изучению истории, о чем Ж. Ле Гофф в газете «Ле Монд» написал, что это та история, в которой сегодня нуждается Франция. Этот новый подход получил название «культурная история». Причем, с одной стороны, он вовсе не был связан с историей культуры, а с другой – такой подход означал полный разрыв с «Анналами». Для меня мой подход был связан со стремлением придать историческую глубину новейшей истории. Правда, порвав с тотальной историей «Анналов», я позаимствовал у нее ее исследовательский метод. Поэтому, если говорить о разрыве с «Анналами», то можно сказать, что он был, и не был. Зависит от того, что понимать под этой «Школой». Если ее взять

за годы 1950-е, то есть когда она была исключительно историей экономической и социальной, то это был полный разрыв. Если говорить, что «Анналы» в 1950–1960-е гг. были под влиянием марксизма и приоритет отдавался истории экономической и социальной, то тоже можно говорить о разрыве. Но, если, напротив, считать, что дух «Анналов» 1930–1940 гг. отражала история антропологическая и при этом гораздо более тесно связанная с новейшим периодом, то разрыва во все и не было, так как для меня этот дух «Школы» был очень значителен. Это с Ф. Броделя начали пренебрежительно относиться к новейшей истории. Он ее не любил. Так что мой вклад в историографию – это и обновление «Анналов».

«Места памяти» – это авантюра моей жизни. Сначала у меня и программы не было, возникла лишь идея: осмыслить триптих – Республика, нация, Франция. И тут я сделал два важных открытия. Первое заключалось в том, что, в отличие от Э. Лависса, представлявшего этот триптих всегда в единстве, я обнаружил и доказал, что в действительности все эти элементы отнюдь не всегда были неразрывно слиты. Республика, например, во Франции утверждалась с трудом. Таким образом, я подверг деконструкции Э. Лависса. И с этой деконструкцией было связано второе мое открытие. Я пришел к выводу о том, что история истории – или историография – это важнейшая область знания, которую надо не повторять речитативом, а именно деконструировать ее элементы для того, чтобы ее понять. Эта моя новая история имела успех. Учителя в школах получили новые методы, а ученикам нравилось, что им стали говорить об истории иначе, не как «Анналы».

А я продолжил совершенствовать методику и в 1993–1995 гг. опубликовал свое многотомное исследование. Работая, я осознал, что все другие страны тоже имеют свои места памяти и что само это понятие универсально, проблема эта касается всех стран: коммунистических, бывших колониальных, наших индустриальных. Историкам, занимающимся новейшей историей, нужны свидетельства и очевидцы для того, чтобы с помощью такой истории объяснять происходящие сейчас события. Произошло, таким образом, возвращение к современной истории, ведь в начале моей карьеры история останавливалась на 1914 г., а по новейшей истории в университетах не давали тем для диссертаций. Поэтому такие люди, как я, и шли работать в Sciences-po. Сегодня, наоборот, интерес к новейшей истории очень велик, особенно к теме Второй Мировой войны, послевоенному времени. Вес ее настолько ощутил, что под ее влиянием трансформировалось много других дисциплин. В то же время сама новейшая история превратилась в историю культурную. Она доминирует даже при изучении экономической истории, так как теперь, например, пишут о «памяти о

предприятиях». Хотя мне кажется, что слово «память» больше относится все же к политической истории, чем к культурной. Обращение к памяти позволяет обогатить политическую историю, понять ее проблемы. Теперь у историков принято говорить скорее об «истории политики», а не о «политической истории». Или об «истории власти».

Среди тех историков, кто способствовал глубокому обновлению истории политики, следует прежде всего назвать Р. Ремона в Sciences-po, Ф. Фюре – в Высшей школе социальных исследований, Ж. Жюльера, ведущего исторического обозревателя в журнале «Нувель Обсерватор». Они привлекли внимание к изучению не только истории власти и способов ее действия, но также к анализу коллективов и всего социального, к тому, что способствует объединению коллектива, совместному существованию. «Новая политическая история» послужила образцом для новых подходов во всей истории. С ней связана история крупных событий и выдающихся деятелей. Нельзя забывать и о необыкновенной трансформации роли и места средств массовой информации в жизни современного общества. СМИ глубоко проникли в повседневное сознание граждан, их оценки и восприятие происходящих событий. Масс-медиа меняют историческое знание. Когда в 1870–1890-е гг. в Европе родилась пресса, все же только историки объясняли прошлое. Теперь дело обстоит иначе. Телевидение демократизировало историческое сознание, широко популяризировало его.

На мой взгляд, между национальными школами существует разница. Невозможно создать европейскую историю, не поняв национальной истории, т.е. сначала надо осознать, что значит быть немцем, французом или итальянцем. К сожалению, современная французская историография испытывает немалые трудности, она вдруг оказалась малоизвестной мировому историческому сообществу, оттого, что французы не публикуются на английском языке, что просто необходимо в современных условиях.

*С. Берстайн, интервью записано в Институте политических наук (IEP) в Париже 5 мая 2009 г.*

Почему стал историком? Из интереса к истории и потому, что к науке этой обратился во время Второй Мировой войны, события которой разворачивались вокруг меня. Мне было 6 лет в 1940 г., и все происходящее настолько меня захватило, что я не думал ни о чем, кроме истории. Особенно, когда я читал учебники по истории, представлявшие историю нашей страны, как сплошь героическую. Чего стоило, например, описание знаменитого полета Гамбетты на шаре во время франко-прусской войны. Но на деле-то я видел совсем другое.

Поэтому в школе я начал усиленно штудировать историю, много трудился в этой области. Хотя об университетской карьере поначалу не думал, ибо мое семейное положение обязывало меня сразу после бакалавриата<sup>8</sup> начать работать. В 1954 г., в возрасте 20 лет я стал учителем. Но ради удовольствия, отнюдь не ради университетской карьеры, тогда же я начал изучать историю в Сорбонне. Двигался медленно, сначала получил диплом лиценсиата<sup>9</sup>, потом получил диплом о высшем образовании, что тогда называли «мэтриз»<sup>10</sup>, для получения которого надо было проделать первое научное исследование. Так как все это у меня очень хорошо прошло, я начал готовиться к агрегационному экзамену. Думал, что процесс этот тоже будет медленно идти, но оказалось, что сдал экзамен с первого раза и стал профессором лицея сначала в Гавре, а потом трудился в разных лицеях Парижа. Однажды я встретил своего друга по агрегационным экзаменам, специалиста по Новой истории Даниэля Роша, который тогда был доцентом в Высшей нормальной школе Сен-Клу, а впоследствии завершил свою научную карьеру в Коллеж де Франс. Он мне сказал, что должен читать в этой школе курс по истории Франции в 1914–1945 гг., но это не его период, отнимет на подготовку много времени, к тому же не очень лично его интересует. Одним словом, Д. Рош предложил мне прочитать курс по этому периоду. Я согласился, и это продлилось в этой школе 15 лет.

Тогда я заинтересовался периодом между двумя войнами и особенно для себя отметил, что все историки писали о том, какую в это время важную роль в политической жизни играли радикалы, причем добивались власти, как левые, потом, будучи в правительствах, смещались к правому центру, меняя при этом правящее большинство. Эту тенденцию политолог Ф. Гогель назвал «законом двух лет». И я задался вопросом о том, кто же были эти люди, какими мотивами руководствовались, проделывая подобный вираж? В то же время формулировка «закон двух лет» показалась мне не совсем точной. Вот тогда я и подумал, почему бы не изучать партию радикалов, учитывая,

<sup>8</sup> Письменный экзамен на бакалавриат (сокращенно «бак») французские учащиеся сдают по окончании лицея, и он служит критерием при поступлении в высшее учебное заведение.

<sup>9</sup> Диплом лиценсиата студенты получают после трех лет обучения в университете.

<sup>10</sup> Диплом «мемуар де мэтриз» студенты получали после четвертого курса, что означало завершение высшего образования. После перехода Франции на Болонскую систему образования «мэтриз» отменили. Теперь студенты после трёх лет получают диплом «лиценсиата», а потом учатся на «мастера» уровня 1 или 2 (в нашей стране принято название «магистратура») в течение одного или двух лет соответственно. После двухлетнего «мастерского» (магистерского) курса предполагается написание диссертации.

что до той поры никто из предшественников не объяснял причины действия этого «закона» в поведении партии. С этой целью я обратился к одному из известных специалистов Рене Ремону, единственному на то время профессору, предлагавшему молодым исследователям темы по истории после 1914 г., стать моим научным руководителем. Другие профессора тогда считали, что, поскольку архивы по этому периоду откроются лишь к 1960-м гг., то и давать такие сюжеты для исследования рано. Р. Ремон очень заинтересовался предложенной мной темой. Он вообще сыграл большую роль в моей жизни, и это ответ на второй вопрос. Итак, я выбрал сюжет о радикалах между двумя мировыми войнами. В 1967 г. Р. Ремон спросил меня, хотел бы я читать лекции в Sciences-po. Я согласился и тружусь в этих стенах с тех пор. А в 1968 г. он попросил меня стать его ассистентом в университете Нантер. Так началась моя настоящая университетская карьера. Но я хочу подчеркнуть, что стал я историком не только из интереса, но и благодаря серии встреч с коллегами. Моя семья никакой роли не играла в моем профессиональном выборе, потому что, во-первых, я потерял родителей во время войны, воспитывался дядей, который немного помогал мне в финансовом плане, ибо сам был стеснен в средствах. Я ведь и в учительский институт поступил потому, что там давали стипендию с 15 лет. Таким образом, в отличие от многих моих коллег, большинство которых было «нормальными», у меня сначала не было систематического исторического образования. Я редко посещал университет, так как все время работал. Одним словом, постигал знания я в основном по книгам. И мне посчастливилось узнать некоторых крупных историков, быть их ассистентом. Кроме Рене Ремона, назову еще Рауля Жерарде, у которого я начал работать ассистентом в Sciences-po, а потом занял его пост руководителя Высшего цикла социальной истории XX века. А у Р. Ремона меня очень впечатлила его книга о «правой» во Франции. Я ее прочел в 1965 или в 1966 г., незадолго до того, как сам обратился к нему. Что меня особо у Р. Ремона поразило, так это то, как он разобрал книги, которые я до этого прочитал. Это были книги по политической истории, авторы которых излагали события, без особого труда объяснять, почему они произошли. Авторами их были, с одной стороны, академики-монархисты и националисты, доминировавшие в то время в Академии наук, и их труды имели большой успех, а с другой – историки-политики, произведения которых были очень сильно политизированы. А книга Р. Ремона мне показалась лишенной каких-либо пристрастий. В условиях, когда «правая» была сильно дискредитирована поддержкой Виши, Р. Ремон показал, что она никогда не была единой, что в ней были страны, и что, по сути, во Франции существовало три «пра-

вых». Такой важный анализ исторической традиции был очень своевременным, так как в 1950-е гг. правые политические силы в стране начали возрождаться. Еще одна заслуга Р. Ремона заключается в том, что в книге он объяснил, почему «правая» не была едина. К тому же его книга помогла понять, что во Франции существует прочная правая традиция, поэтому партии и возрождаются, что и случилось к 1950-м годам. Р. Ремон не только описал, но и многое объяснил с точки зрения социальной и интеллектуальной перспективы развития. Я не случайно обратился к нему по поводу своей диссертации о радикалах.

Практически я всегда работал рядом с Ремоном, как в Sciences-po, так и в Нантере. Это человек, к которому я искренне испытываю глубочайшее уважение. Он чрезвычайно открытый и, в то же время, очень скромный. Несмотря на свой огромный интеллектуальный потенциал, многочисленные приглашения на крупные дебаты на телевидение, радио, в прессе, Р. Ремон никогда не пытался создать вокруг себя кружок верных учеников-последователей, как это делают многие историки. Всем, кто работал рядом с ним, он предоставлял полную свободу творчества, в том числе и право на собственную, может, даже и другую интерпретацию истории, нежели у него. Он позволял приходить даже к другим выводам, чем у него, и всегда весьма уважал тех, кто рядом с ним трудился. Иными словами, вокруг Р. Ремона существовало некое сообщество, но это было объединение добровольцев. Единственное, чего не принимал Р. Ремон – это когда в угоду идеологическим соображениям историю искажали. Историков такого рода он подвергал безжалостной критике.

Вклад Р. Ремона в развитие французской историографии фундаментален. Он пришел в историческую науку, когда в ней доминировало несколько тенденций. Первая – исключительно университетская – базировалась на историческом позитивизме. Суть ее – работа с архивами, сравнение разных архивных данных, а затем – исторические выводы, которые не подвергались сомнению. Причем эти выводы излагались в соответствии с определенной логической схемой. Это была очень серьезная, солидная университетская история. Не все преподаватели этой когорты были сильны в научном плане, но зато все они преподавали в Сорбонне. В качестве примера можно назвать Шарля Путасса, занимавшегося новейшей историей, или специалиста по XIX веку Луи Жерара, который не искал новых подходов в истории, но писал фундаментальные труды. Вторая тенденция, которая с этой академической средой порвала – это «школа Анналов», которая с 1950-х по 1980-е гг. занимала ведущее место во французской историографии. Ее создатели, бесспорно, совершили коперниканскую революцию в историческом исследовании, выдвинув идеи о структуре, глубинных

корнях истории, стали заниматься периодом длительной исторической эволюции, превратив процесс исторического познания в многосторонний, с точки зрения подходов. Представители «Анналов» очень много нового привнесли в изучение средневековой и новой истории, но совсем не интересовались современной историей, которая не имела длительности. Тем более, они абсолютно не занимались политической историей, мало внимания уделяли истории отдельных личностей, обратив свои взоры на историю больших сообществ. Хотя и для тех, кто непосредственно специализировался на новейшей истории, влияние «школы Анналов» тоже было очень значительным. Ведь ее новые исследовательские подходы и методы натолкнули их на мысль обратиться к глубинным причинам событий, происходящих в современной истории. Третья тенденция, которая была в то время очень влиятельной во французской историографии – марксистская, причем писавшие в этом ключе, разделяя в принципе марксистские идеи, не обязательно были связаны с коммунистической партией. Вдохновляясь этими идеями, они особенно сильно нападали на две другие тенденции в 1950–1960-е годы, а по большому счету, марксистские историки вплоть до 1980-х гг. создавали фундаментальные труды. Они, как и К. Маркс, объясняли, что только социальные и экономические факторы влияют на развитие истории, поэтому, вторя ему, считали политическую историю чем-то второстепенным и искусственным.

Р. Ремон ни к одной из перечисленных тенденций не принадлежал. Но в 1960–1970-е гг. вокруг него сложилось своеобразное направление, под влиянием которого начали выходить труды по политической истории. Тут особо важную роль сыграла его книга 1980 года<sup>11</sup>. А представители этого направления, в числе которых имею честь быть и я, продолжили дело, начатое Р. Ремоном, писали очень значительные работы, развивая в них новые подходы к изучению политических идей. Среди представителей этого направления, сверстников Ремона, назову П. Маралья, Ж.-М. Майера, оставившего особенно заметный след в изучении истории религии. Из людей моего поколения отмечу Пьера Мильзу, Жан-Жака Беккера, Жана-Франсуа Сириелли, Рене Жирарде и др. Подчеркну также, что это направление не стало строго оформленным, в него свободно входило более молодое поколение. В частности, очень много было сделано в изучении парламентской системы (Ж. Гарриг). Словом, нашим детищем была живая история, которую мы очень активно развивали. Сегодня во Франции

<sup>11</sup> Речь идет о не утратившей своего значения книге «Les droites en France», вышедшей в свет в 1982 г. как дополненное третье издание его первой книги о правах, опубликованной в 1954 г. (второе издание появилось в 1963 г.).

сложилось коллективное историческое сообщество, в котором каждый историк заимствует что-то от другого, исследователи работают сообща. Я, например, много лет возглавлял секцию новой и новейшей истории при Министерстве образования и был поражен и обрадован размахом исторических работ. Можно сказать, что историческое сообщество современной Франции очень активно.

Вместе с тем я думаю, что в мировом масштабе до сих пор сохраняются черты национальных историографий. Специфика французской историографии в том, что она все еще сильно ориентирована на привлечение архивных материалов. Это как верность традиции, заложенной в 1960-е гг. Еще одной ее особенностью остается появление «скандальных» книг, базирующихся на неоспоримых источниках и специально нацеленных на вызов полемики, на переоценку прежних взглядов. В качестве национальной черты французской исторической школы стоит отметить также, что наиболее серьезные работы вышли из-под пера исторических демографов, изучивших немалое количество различных документов, чтобы объяснить прошлое. Тем не менее, сегодня ситуация с положением французской историографии в мире сильно изменилась, потому что на «глобальном историческом рынке» котируются произведения, написанные на английском языке, и, чтобы получить мировое признание, теперь надо публиковаться на английском. Таким образом, сегодня французская историография оказалась несколько маргинальной. К тому же англоязычная историография – это историография синтеза, она меньше задействована на архивах. Во французской же еще ощущается влияние той эпохи, когда надо было защищать докторскую диссертацию, для чего требовалось проделать глубокое исследование. Хотя сейчас, когда и во Франции защищают лишь одну диссертацию, появилась тенденция писать большие работы обобщающего характера, где представлены взгляды и предложены перспективы авторского коллектива. Однако пока университетская наука такие работы-амальгамы все же считает не совсем научными.

Еще одна черта современной французской историографии состоит в том, что ученые сосредотачивают внимание на исследованиях отдельных узких сюжетов. Понятно, что исторические работы нуждаются в ссылках на архивные документы, но в то же время надо стремиться приходить к выводам более широкого плана. На заседаниях абилитационных комиссий<sup>12</sup> я всегда просил расширить область исследова-

---

<sup>12</sup> Во Франции, чтобы после защиты докторской диссертации получить звание профессора, нужно пройти специальную абилитационную комиссию (сокращенно – «абилитасьон»), рассматривающую кандидатуры по совокупности трудов, написанных ими после защиты.

ния, открыть некоторую перспективу, предложить глобальное видение проблемы. Жаль, что пока мало работ такого плана.

*Жиль Лё Бегек, интервью записано в Институте политических наук (IEP) в Париже 20 декабря 2011 г.*

Семья в моем профессиональном выборе не участвовала. Маме хотелось, чтобы я поступал в Национальную школу администрации (ЭНА). Я стал историком под влиянием двух обстоятельств. Во-первых, благодаря тому, что однажды летом, оказавшись лет в 14-15 у бабушки, в абсолютно затерянной деревне в Нормандии, где потом началась высадка союзников, на маленьком полуострове Котанта, от нечего делать приобщился к чтению. У весьма образованного деревенского кюре я нашел два тома под названием «Приход к власти Бонапарта», написанные преподавателем Sciences-po Альбером Вандалем. Во-вторых, после лицея я не поступил в Высшую Нормальную школу, куда я нацеливался, выбрав специализацию по литературе. Но я не очень силен был в латыни, которую требовалось знать на довольно высоком уровне для прохождения на изучение словесности. Провалившись по конкурсу в Эколь нормаль, я не захотел испытывать себя второй попыткой и сразу поступил в Сорбонну. Там я несколько поколебался в выборе специальности между философией и историей, но понял, что все же история интересует меня больше. Так я и открыл для себя историю.

Диплом лицензиата я получил в 20 лет, в 1963 г. В Сорбонне меня сразу очень впечатлил Пьер Ренувен. А по истории международных отношений в новейшее время – Жак Дроз. Он был очень именитым профессором, и жаль, что, втянувшись после Мая 1968 г. в эту авантюру с экспериментальным университетом Венсенна, он заработал там инфаркт<sup>13</sup>. Серьезно на меня повлиял заведовавший кафедрой истории Византии Поль Лемер. Я сильно увлекся этой историей, но для более серьезных дальнейших исследований надо было выучить греческий язык, что давалось мне с трудом, и, в конце концов, я отказался от этой идеи. К тому же во время сдачи в 1966 г. агрегационных экзаменов я увидел Р. Ремона, который был членом жюри. Р. Ремон тоже меня заприметил, а я при подготовке к экзамену прочел его работы, и сам хотел с ним работать. Хотя у нас с Р. Ремоном сложились

---

<sup>13</sup> Речь идет об университете, созданном по американской модели Министерством национального образования сразу по окончании студенческих бунтов Мая 1968 г. в пригороде Парижа Венсенне. Однако эксперимент оказался неудачным, так как в него пришли леваки настроенные студенты, которые по-прежнему были охвачены идеей революции, а не учёбой, и в 1969 г. университет был закрыт.

очень плодотворные интеллектуальные контакты, к кружку его близких учеников я никогда не принадлежал, потому что работал и жил под Парижем и не мог приезжать на его семинары. К тому же тогда я увлёкся политической карьерой. По сути, вокруг Р. Ремона сложилась «школа Нантера». И благодаря этой школе политическая история превратилась в важную составляющую исторической дисциплины. Мне не довелось участвовать в книге-манифесте Р. Ремона «За политическую историю», но я был одним из авторов второго сборника – «Предмет и методы политической истории».

В 1960–1970-е гг. я погрузился в политику: стал членом национального бюро «Союза молодёжи за прогресс», на срок 1973–1978 гг. избирался депутатом парламента. В парламенте я был советником Ж. Шардонеля, Р. Пужада, писал для них политические выступления. Я был голлистом и редким политическим историком, который имел опыт работы во власти. Многие коллеги левых политических взглядов тоже вели активную политическую жизнь, но не участвовали в ней сами напрямую, особенно не готовили избирательные кампании, речи, как довелось мне. После подобного опыта уже по-иному будешь преподавать и представлять политическую историю. Становишься в известном смысле реалистом. Политика – это вопрос о власти и конкуренция ради власти. Я об этом и со студентами в семинарах говорил. На мой взгляд, работа во власти пошла мне на пользу и в интеллектуальном плане. Вот уже 20 лет, не будучи специалистом по истории Италии, я активно сотрудничаю с итальянскими историками. Скоро там выйдет в печать коллективный труд по истории европейского общественного мнения, в котором я являюсь автором. Я очень много читаю английской литературы, и особенно мне нравится то, как у них пишутся политические биографии. С прошлого декабря, после длительного участия в научном совете Фонда Ж. Помпиду я возглавил Ассоциацию Ж. Помпиду и разработал четырехгодичную программу посвящённых ему конференций. А теперь еще я начал с Л. Жераром из Сорбонны работать над политическими идеями XIX века.

Я думаю, что во Франции относятся к политической истории без особого доверия. Например, в Нантере в течение пятнадцати лет я никого не мог найти на замену на пост профессора по политической истории. В новейшей истории на сегодня нет таких крупных и авторитетных специалистов, каким был в свое время П. Ренувен. Мало специалистов во Франции изучает историю политических институтов. Только Николя Русселье. До сих пор историей политических идей у нас больше занимаются филологи или политологи. На мой взгляд, политическая история во Франции недостаточно еще открыта другим

дисциплинам. И я считаю, что в ней слишком много присутствует история культурная. Я в Sciences-po вместе с П. Коши и Ж-Ф. Сири-нелли согласился составить рабочую группу для размышления над перспективами политической истории.

Я не очень одобряю изменение нашей программы преподавания истории. Она мне не совсем понятна. Хотя я сторонник магистерских курсов, которые требуют обязательного присутствия студентов на занятиях. Студенты явно стали более мотивированными в плане выбора специальности. В бытность свою преподавателем я читал курсы не только по политической истории Франции, но и Италии, Англии, Германии. Общие курсы у нас читаются на 1–3 годах обучения, потом идут магистерские исследовательские семинары. До прихода в Нантер я поработал профессором в университетах в Лиможе и в Нанси. Довелось мне прочитать много разных лекционных курсов для подготовки агрегаций. Мне кажется, что сейчас, с современным развитием науки, одолеть такой объём дисциплин невозможно. А. Пейрефит<sup>14</sup> хотел отменить агрегации, но спас их Ж. Помпиду. Агрегации – специфика французской системы подготовки преподавателей. Хотя она не установлена законом, но отборочные комиссии всегда смотрят на наличие сдачи агрегационных экзаменов у конкурсантов. Какое неудобство несёт сейчас агрегация? Теперь между окончанием курса «мастер-2» и временем для написания диссертации есть перерыв в два года на подготовку к агрегационным экзаменам. Причем надо заниматься не по теме своей будущей диссертации, то есть наступает перерыв в диссертационном процессе. Подобной процедуры не существует не только за границей, у наших политологов и юристов агрегация сводится к конкурсу при приёме на работу после защиты диссертации, проходящему в виде собеседования.

*Жан-Франсуа Сири-нелли, вопросы для интервью были заданы в Институте политических наук (IEP) в Париже 5 мая 2009 г., а ответы получены по электронной почте и заимствованы из поданной автору книги «Понять французский XX век» с автобиографическим очерком.*

Дальние предки мои были выходцами из мелкобуржуазного сословия, оба деда – учителями, отец – профессором, специалистом по древнегреческой цивилизации. Прямо отец никогда не влиял на мой профессиональный выбор, но, вероятно, его личный пример и университетские ценности, которые он в моих глазах собою олицетворял, –

<sup>14</sup> Бывший министр Национального образования в правительстве де Голля, на долю которого выпали Майские события 1968 г., повлекшие его отставку.

все это опосредованно повлияло на мое решение стать профессором. Подчеркну, что я никогда не пожалел о сделанном выборе, несмотря даже на то, что, к моему глубокому сожалению, очевиден тот факт, что в современном французском обществе престиж статуса профессора, как и вообще высшей школы, частично утратили свою значимость.

Невзирая на то, что мое дипломное сочинение было посвящено античному периоду, выбранная мною тема свидетельствует о том, что уже тогда, в начале 1970-х гг., я хотел изучать историю XX века. По сути, меня интересовал не столько временной отрезок, сколько взаимовлияние политической и культурной истории. Работа моя была посвящена взаимоотношениям правителей эпохи эллинизма и литературы, а именно: каким образом эти правители, опираясь на практику меценатства, сумели поставить культуру себе на службу. В этом исследовании уже явно проступали проблемы современности: место и роль деятелей науки и культуры в общественной жизни. Исходя из этого, видно, что скачок от Александрии последних веков до нашей эры к Франции XX века был не мимолетным порывом, а сознательным выбором, возможно, своеобразным подтверждением моей предрасположенности к антропологическому повороту. Хронологически этот скачок был сделан в 1972/1973 учебном году моей подготовки к сдаче агрегационного экзамена по истории в университете Париж-Х Нантер. В то время этот университет блистал в области политической истории, поэтому предложенная для агрегационного конкурса тема звучала так: «Франция с 1934 по 1958 г.». Несомненно, год, проведенный в Нантере, еще больше укрепил мой интерес к французской истории XX века. Однако в этом прославленном университете, где в русле политической истории главное внимание концентрировалось на изучении партий, роли политических лидеров, общественного мнения, меня больше привлекали иные сюжеты. И когда осенью 1973 г. встал вопрос о выборе темы диссертации, я обратился к изучению места людей культуры в общественной жизни и циркуляции политических идей в обществе. Это то, что затем назовут интеллектуальной историей, но в то время по этой теме еще не существовало ни семинаров, ни трудов обобщающего характера. Особенно это относилось к истории XX века, в которой исследователям открывалась целина. Таким образом, уже в проекте темы диссертации, намеченном мной после сдачи экзамена на агрегацию, в зародыше присутствовала культурная история. Диссертация «Каньяры<sup>15</sup> и нормальены двадцатых годов. Политическая история поколения интеллектуалов (1919–1945)» была

<sup>15</sup> «Каньярами» называют учащихся годичных классов подготовки к сдаче экзаменов в элитные высшие учебные заведения (например, в Эколь нормаль).

выполнена под руководством Р. Ремона, защищена в 1986 г. и опубликована в виде монографии в 1988 г. Когда готовилась к публикации моя диссертация, ее издатель Э. Винь предложил мне написать много томный труд под названием «История правых во Франции».

Проект сразу захватил меня. Мой интерес был тройным. С одной стороны, мне казалось чрезвычайно важным продолжить переосмысление событий стремительно развивавшегося XX века в целом, не исключая возможности на этом фоне перекинуть с межвоенных лет на его вторую половину изучение интеллектуалов, начатое мной в годы работы над диссертацией. С другой стороны, доскональное рассмотрение сюжета требовало погружения в историю двухвековой давности. Именно перекрещивание событий на протяжении столь длительного срока делало этот проект притягательным: достоинство культурной истории стало очевидным, когда я искал ответы на многие вопросы истории XX века, ибо через сравнительно-историческую и хронологическую перспективу она позволила проследить взаимовлияние событий. Наконец, третья причина, побудившая меня заняться этим требовавшим долгих лет усилий проектом, заключалась в том, что изучение интеллектуалов сделало возможным найти нужные ответы на вопросы о процессе распространения идей и политической мысли в обществе, о том, как они им поглощаются или отвергаются.

Последние двадцать лет поистине ознаменовались взлетом культурной истории во французской исторической науке. Я очень рад этому, ибо считаю, что этот взлет вдвойне обогатил французскую историографию. Культурная история выступает одновременно и как область знания, и как наблюдение. Этим я хочу сказать, что в процессе исторического исследования культурная история выполняет двуединую функцию. С одной стороны, она представляет собой дисциплину, выступающую как самостоятельный раздел историографии, в котором анализируются представления людей о самих себе и об окружающем их мире. Это то, что я определяю как «чисто культурную историю», и в качестве дополнительных пояснений подчеркну, что в данном ракурсе она концентрируется на выяснении циркуляции смысловых конструкций какого-либо данного общества. С другой стороны, обратившись к изучению циркуляции смыслов, культурная история выходит за пределы ее собственного исследовательского поля и способствует обогащению взглядов историков из других областей науки. Это значит, например, что, благодаря подходам культурной истории, политическая история до такой степени глубоко обновилась, что можно уже говорить о культурной истории политики.

В одном из своих текстов, опубликованном в 2001 г., я предложил базирующееся на этих принципах определение культурной истории.

В докладе на конференции 2004 г. в Серизи, названном «Современная культурная история», я пояснил это определение как «двухуровневая история». Историк, пытающийся воссоздать прошлое и реконструировать прошлую реальность, прекрасно осознает всю сложность этого занятия и, более того, представляет, что невозможно осязать эту былую действительность. Поэтому культурная история, пытаясь уловить реалии и, находясь в то же время под их воздействием в процессе восприятия-отражения, де-факто оказывается в центре любого историографического исследования.

«Постмодернизм» – это изначально англо-саксонское определение, и во Франции лишь немногие историки им оперируют. Это и не мой случай, поэтому я не стану рассуждать о постмодернизме. Напротив, очень актуальна во Франции проблема выяснения семантической разницы между понятиями «культурная» и «интеллектуальная» история. В строгом смысле слова, в широком плане, понятие культурная история поглощает понятие истории интеллектуальной. Ведь последняя понимается, как производство систем структурированных мыслей, поэтому, когда речь заходит о коллективном в историческом процессе или о более глобальной интеллектуальной конфигурации, сложившейся в обществе на данный момент, она охватывается культурной историей. Хотя сегодня некоторые историки стремятся придать интеллектуальной истории автономный статус в рамках исторической дисциплины. В принципе, это нельзя не приветствовать, но хочется надеяться на то, что при этом не будет оспариваться прочность связей между интеллектуальной и культурной историей. К тому же следует напомнить, что двадцать лет тому назад именно интеллектуальная история служила матрицей истории культурной. Поэтому, в свою очередь, это обстоятельство подчеркивает неразрывную обратную взаимосвязь культурной истории и интеллектуальной.

В середине 1980-х годов мне стало очевидно, что XX век, несомненно, является веком ангажированных интеллектуалов, но изучения лишь их одних недостаточно для понимания десятилетиями происходивших процессов исторического развития. Многие мыслители жили в этом веке, но его история не держится лишь на них одних. Ограничение только интеллектуальной историей ведет если не к тупику, то к научному риску в деле реализации проекта по переосмыслению французского XX века. Между тем сама по себе интеллектуальная история служит существенным дополнением к его пониманию. Применение к политике метода культурной истории позволяет объяснить кризисы и волнения, выйдя за пределы, безусловно необходимого анализа принципов законности политического режима, но тем не менее, сконцентрировавшись главным образом на принципах легитимности. Этот

XX французский век должен быть, таким образом, рассмотрен как история соучастий и разделяемых чувств. Тот, кто приобщился к общественной жизни, сам одновременно зависит в своих действиях от мыслительных процессов, происходящих в окружающем мире. Только в этой зависимости никогда не доходят до восприятия реальности, воспринимая лишь ее отражение. Таким образом, именно это восприятие-отражение и определяет, в конечном итоге, виды действий. Поэтому культурная история и вместе с ней политическая история в историографическом плане сосредотачивают внимание одновременно на мыслительной и действенной активности. Иными словами, степень зрелости политических фигур зависит не только от точных политических расчетов и стройных доктрин. К ней примешиваются, помимо всего, менее изученные представления из области восприятия внутреннего мира политики. И чтобы получить об этом представление, следует расширить культурную историю политики за счет привнесения на ее почву антропологических методов. Так в культурной истории соединяются два методологических подхода. Во всяком случае, перед историком стоит очень сложная задача определить, каким образом отражаются на политическом поведении эти разрозненные представления о том, как быть, действовать, мыслить, чувствовать.

Происходящая в мире «социокультурная глобализация» сблизилась больше, чем когда бы то ни было прежде, национальные исторические школы. Это прекрасно видно на международных конференциях, во время которых проявляются схожесть и совместимость историографических подходов. К тому же стоит подчеркнуть в качестве характерного симптома то, что отныне каждой национальной историографии свойственно признавать такое понятие, как «мировая история». В то же время, правомерно, что любая национальная историография есть продукт собственных традиций и исторического наследия. А это, по крайней мере, на сегодня, позволяет утверждать, что национальные историографии сохраняют свои особенности. Более того, нельзя забывать о том, что в разных исторических школах в некоторые понятия не всегда вкладывается одинаковый смысл, что подчас вызывает сильные историографические разночтения. Это напрямую относится к понятию «культурная история». Широкое толкование слова «культура» нередко приводит национальные историографии к разным представлениям о том, что следует вкладывать в рамки культурной истории.

За тридцать последних лет французская историография сильно изменилась. В первой половине 1970-х гг. еще широко доминировала социальная история, а в ее рамках развивалась так называемая «ментальная история». Сегодняшний историографический пейзаж пред-

стает глубоко изменившимся. Если говорить о произошедшей эволюции в самых общих чертах, то следует упомянуть о ее двух главных проявлениях. Во-первых, возродилась политическая история, а во-вторых, развилась культурная история. При этом политическая история, десятилетиями считавшаяся наименее привлекательной и плодотворной в числе других отраслей исторического знания, существенно обогатила новыми сюжетами свое исследовательское поле, привнеся в него также и новые методы. Что касается культурной истории, то во французской историографии она сейчас переживает бум и достигла пика своего расцвета как учебная дисциплина во многих университетах. Как это затрагивает меня лично? Я ощущаю себя в профессиональном плане стоящим на пересечении этих двух подходов, потому что принимал участие в развитии культурной истории и всеми силами содействовал возрождению политической истории путем обогащения ее методологического арсенала приемами, заимствованными у молодой культурной истории.

Эти аналитические подходы чрезвычайно важны, потому что они затрагивают совместное бытие: не только агоры, где разворачивается политическая борьба и сталкиваются политические культуры, но и в более широком плане остального Города, где организуется конфликтным или консенсусным способом социальное существование; если на поверхности политические культуры вскрывают проявления политического сознания, то с помощью более глубокого их анализа в дискурсивном плане мы выходим на то, что в них скрыто. За тем, что скрыто, прослеживается взаимодействие многочисленных факторов и событий, обеспечивающих функционирование Города и повседневное сосуществование в нем своих и чужих... Историк должен постоянно размышлять над соотношением единичного и общего, индивидуального и коллективного. Историк новейшего времени, в отличие от своих коллег, занимающихся другими периодами истории, призван отдавать себе отчет в том, что на его практическую работу влияют изучаемые события. Он непосредственно вовлечен в общественную игру под названием «история и память». Отсюда следует, что надо быть осторожным, ибо, если историк новейшего времени не будет контролировать свою память, то он попросту исказит и лишит смысла свой труд. У новейшей истории одновременно существуют свои принципы: ей как исторической дисциплине присущ определенный исследовательский периметр – и в то же время на практике она развивается экстенсивно. Эта история развивается, таким образом, по мобильной шкале времени. Мы видим также, что эта временная мобильность не ограничивается только хронологическими рамками: приход нового поколения историков привносит другой эталон для измерения соот-

ношения между прошлым и настоящим. Другими словами, временной отрезок, с которого начинается новейшая история, не может быть установлен указным порядком: он представляет собой своеобразный видоизменяющийся участок, который обрабатывают историки разных возрастов, прибегающие к тому же к разным способам обработки.

Французская историческая школа была и остается весьма плодотворной и богатой на знаменитые имена. С этой точки зрения очень трудно установить в ней пальму первенства среди ученых, а если все же постараться, то надо отметить, что в этом деле все равно нельзя достигнуть полной справедливости. Кроме того, я специалист по новейшей истории, поэтому мне трудно сделать это применительно к историкам, изучающим другие периоды (античный, средневековый и новый) и прославившим своим творчеством самостоятельные французские исторические школы. Если вернуться к новейшей истории, а в ее пределах – к истории политической и культурной, то хотелось бы выделить следующие имена. В первую очередь надо отметить, что главным специалистом, стоявшим у истоков возрождения политической истории, был Рене Ремон, скончавшийся в 2007 г. Заслуга его в том, что он объединил вокруг себя историков разных поколений, которые, вслед за своим мэтром, тоже поспособствовали этому возрождению. В 2010 г. в Sciences-po пройдет научная конференция, посвященная анализу творчества и роли Р. Ремона в историографии.

На изучение истории XIX века глубоко повлияли два других историка, теперь уже на пенсии: Морис Огюлон и Ален Корбен. И это не только потому, что оба они имели массу учеников-последователей, но и потому, что каждый из них существенно и с разных сторон обогатил французскую историческую школу. Постепенно работы Мориса Огюлона и Алена Корбена, а также других специалистов по истории XIX века позволили вписать этот век вровень с предыдущим. Автор «Марианны» (имеется в виду М. Огюлон – *Г.К.*), в частности, четко сформулировал свою мысль о том, что репрезентативная история не является прерогативой специалистов по дореволюционному времени. Это утверждение, блестяще реализованное на практике в его работе, а также в трудах других авторов, позволило свершиться историографическому перевороту: мало-помалу историческая антропология вышла за пределы периода до 1789 г. и дошла в своем хронологическом измерении до 1914 г. Заслуга этих специалистов по истории XIX века не только в том, что они обогатили историческое знание, но и в том, что они пролили дополнительный свет на имеющееся знание.

В области политической истории должен быть отмечен Пьер Розанвалон, являющийся в настоящее время профессором Коллеж де

Франс. С его творчеством связано появление в рамках политической истории особого направления, получившего название «концептуальная история политики».

Я полагаю, что форма преподавания варьируется в зависимости от аудитории. Для студентов первых курсов на общих лекциях, когда идет простой монолог профессора, важно пробудить у них интерес к исторической дисциплине, дать им «почувствовать историю». Далее, и это, на мой взгляд, касается обучения во всех странах, наиболее плодотворной формой для пробуждения исследовательской инициативы студентов служат семинары. Мы во Франции опираемся на такой методический формат как при обучении в магистратуре, так и в рамках возглавляемой мной в Sciences-po лаборатории – Центре истории. Следует помнить, что процесс превращения в исследователя зиждется на двух опорах: непосредственной передаче знания и усвоении правил руководства доводами. Справедливость этого утверждения становится тем более очевидной, если учесть, что университетский или студент в первую очередь сам послужит в будущем агентом передачи знаний как эстафеты новым поколениям. Поэтому всегда важно заботиться о смене поколений.

В пределах исторического знания, на которые распространяется моя сфера научных интересов, на мой взгляд, для французских историков вырисовываются две исследовательские перспективы. С одной стороны, так как изучаю я события, относящиеся к тому, что мы называем «настоящее время», первая перспектива диктуется непосредственно самим ходом времени, с течением которого постоянно расширяются границы исследовательского поля. Образно говоря, следуя за развитием реальной жизни, нужно поближе причалить к историческим берегам современности. Хотя дистанцию в тридцать лет все же следует соблюдать, учитывая, что доступ к архивным документам возможен лишь спустя такой срок с момента прошедших событий. Так что, я думаю, что отныне можно и нужно работать над изучением того, что происходило в нашем обществе в 1970–1980-е годы. С другой стороны, исходя из своих личных научных пристрастий, позволю себе заметить, что весьма актуальной в историографическом плане остается перспектива насыщения политической истории событиями культурной истории. Опираясь на этот метод в попытке понять и объяснить исторические феномены, историк призван также задаваться решением крайне важных вопросов антропологического характера.

На переднем фланге новейшей истории находятся отныне 1960-е годы. И процесс такого деления отнюдь не носит механического характера, он обусловлен в первую очередь тем, что эти годы служат

водоразделом во французском XX веке. Период 1965–1985 гг. представляет собой «Решающее двадцатилетие» нашей национальной истории, зародившееся в недрах «Славного тридцатилетия» и пришедшее ему на смену после его исчезновения. Пришло время его изучать.

Всегда трудно говорить о себе. В настоящее время в Sciences-po с моими коллегами мы пытаемся развивать культурную историю в чистом виде, во-первых, а также культурную историю политики, во-вторых. Наша цель – превратить Sciences-po в полюс притяжения для этих двух исторических дисциплин. Лично я работаю над изучением исторического отрезка времени, датируемого 1965–1985 гг. и ставшего периодом крупнейших изменений в жизни современной Франции.

Представляется, что размах метаморфоз, происшедших во французском обществе за годы «Решающего двадцатилетия», был настолько велик, что исторический отрезок времени, существовавший до них, можно назвать «миром, который мы утратили», и к его анализу уже вполне применим историко-антропологический метод. Иначе говоря, под влиянием упомянутых изменений по одну сторону разделительного историографического хребта расположился период от начала XX века и до 1960-х гг. В частности, Франция межвоенного времени, политическая история которой уже досконально изучена, требует переосмысления с помощью этого метода. Многообещающим исследовательским полем может стать как период 1919–1939 гг., так и IV Республика. Одним из важнейших показателей изменений 1960-х гг. был взлет нового поколения, нареченного «дети бума» и повзрослевшего в течение следующих десяти лет. Смена поколений происходила и прежде, но до этих «детей бума» ни одно поколение французов не было современниками столь стремительных перемен. В исследовании этого сюжета ярко проявляется важность применения метода культурной истории. А еще больше необходимость его применения диктуется тем, что сердцевину XX века составляет массовая культура.

*Жан-Нозль Жанненэ, интервью записано в Институте политических наук (IEP) в Париже 16 декабря 2011 г.*

Естественно, моя семья сыграла главную роль в моем становлении как историка. Причем особенно специализирующегося по политической истории. Я – выходец из либеральной буржуазной семьи, то есть не из деловых кругов. Дед мой – Жюль Жанненэ был парламентарием во времена Третьей республики, избранным от Левого блока еще в 1902 г. Он оставался депутатом до 1940–1942 гг., потом снова был избран и отошел от дел в 1969 г. А в 1932 г. дед стал сенатором, некоторое время даже возглавлял Сенат. То есть он – представитель

левой, причем радикальной, традиции. Хотя он в партии собственно и не состоял (имеется в виду партия радикалов и радикал-социалистов – Г.К.). Но он – типичный дрейфусар (имеется в виду знаменитое «дело Дрейфуса», расколовшее французов на два враждебных лагеря в 1894–1900 гг. – Г.К.). Я обо всем этом в своей докторской диссертации написал. А отец мой был министром в правительстве де Голля времен Пятой республики. Он придерживался скорее взглядов левого голлизма. Вкус к политике у меня возник еще и со стороны моей бабушки по линии матери. Она была тоже очень активной дрейфусаркой. До своего прихода в политику вместе с де Голлем в 1958 г. отец мой был профессором университета. Он экономист. У меня еще брат и четыре сестры. С детства я очень много читал разной литературы, потому что все мои братья-сестры учились либо экономике, либо литературе, либо истории. Я был учеником хорошим, поступил в ипокань<sup>16</sup>. После я прошёл по конкурсу в Высшую Нормальную школу, причём сначала хотел специализироваться по философии. Собеседование со мной проводили Мишель Фуко и Жан Ипполит. Они сказали мне, что мой склад ума отнюдь не философский и были правы. Тогда я и остановился на истории, которая действительно соответствовала моим склонностям, вкусу. Это ведь скорее дисциплина, а не наука – история. В то же время, видимо, под влиянием политического опыта моих предков, я постоянно хотел участвовать в общественной жизни. Хотя и профессорская карьера мне нравилась. Я четырежды входил в Sciences-po как преподаватель, но при этом всегда старался сохранить свободу выбора и никогда не принадлежал к иерархическим кругам Sciences-po. Диссертацию хотел написать очень быстро, что и сделал за четыре года.

Первым моим университетским преподавателем был П. Ренувен, у которого я и писал дипломное сочинение, посвященное переписке бойцов в 1914–1918 гг. Работал в архивах Жандармерии, что было чрезвычайно интересно. В то время ведь нельзя было защищать исторические работы без привлечения архивных документов, а тогда по закону они становились доступными для исследования после пятидесяти лет с момента прошедших событий. П. Ренувен поразил меня широтой взглядов, глубиной подхода и, в то же время, открытостью, чувствительностью. Он ведь участник Первой мировой войны, потерял руку, прошёл через газовую атаку. В моё студенческое время историю войны изучали традиционно: писали о славе и знаменах победы, Версальском мирном договоре, но никогда не касались тяжестей и

<sup>16</sup> Название специальных подготовительных классов для поступления в элитные высшие учебные заведения, учащихся которых называют «каньяры».

горестей войны. П Ренувен первым начал от исключительно такого подхода отходить, что меня очень впечатлило. Еще во время учебы меня вдохновлял профессор по истории Византии – Поль Лемер. Он читал курсы в Сорбонне, а потом стал профессором в Коллеж де Франс. П. Лемер обладал даром красноречия, политического трибуна, а это я считаю очень важным в преподавании. Потом, очень я любил Анри Марру и, конечно, Рене Ремона. Я встретил его здесь, в Sciences-po. Он с Франсуа Гогелем вел семинар по 1958-му году, точнее – по созданию Пятой республики. К тому же Р. Ремон общался с моим отцом. Под его руководством я защитил диссертацию, посвящённую моему деду, а позже, в 1968 г., он пригласил меня доцентом в университет Париж-Х Нантер, где я стал его ассистентом. Тогда очень легко было получить пост в университете, потому что во взрослую жизнь входили дети, рожденные между 1939–1940 гг. У Р. Ремона меня особенно поражал его либерализм. Он ведь был католик, а я и моя семья придерживались светских взглядов. К тому же, хотя я и не состоял в Соцпартии, я – левый политик. Для меня очень важен персонаж Жана Жореса. Р. Ремон совершенно не боялся молодых талантов. В эти бурлящие 1968-е годы он в Нантере создал маленькую блестящую команду специалистов по новейшей истории, куда вошли Ж-Ж. Беккер, С. Берстайн, я и др. Р. Ремон был убежден в том, что история необходима обществу. Когда я возглавлял Национальную библиотеку Франции, а Р. Ремон был уже болен, я провёл конференцию в его честь. Туда же я собрал его архив.

Безусловно, важнейшая школа – «Анналы». Я очень ценю творчество Марка Блока, много читал его. «Анналы», естественно, сильно обогатили историческую науку. Они привили вкус к красивому написанию исторических трудов. Жоржа Дюби, Жака Ле Гоффа я тоже выделяю как крупных представителей этой школы. Но для новейшей истории «Анналы» никакой роли не сыграли. У них было лишь два специалиста в этой области – Пьер Нора, мой друг и по сей день, и Жак Жюльяр. «Анналы» – это очень закрытая «Школа». Я им предлагал однажды по наивности статью, однако мэтры ее не приняли потому, что я не из них. «Школа» занималась исторической антропологией и политической историей лишь применительно к древности и средним векам. Если говорить о специализации по международным отношениям, то тут большим авторитетом для меня был Ж-Б. Дюрозель. Назову также Алена Корбена, которому сейчас 75 лет и который существенно обновил «историю чувств», написав очень хорошую книгу по истории проституции, парфюмерии, гомосексуальности, физического наслаждения. Вспомню и прекрасного специалиста по новейшей истории

Даниеля Роша, а также Мишель Перро, Мону Озуф. Вообще, это знаковое событие – появление женщин в исторической науке. Когда я учился в Сорбонне, там их было очень мало среди профессоров.

В бытность совместной работы в Нантере с Р. Ремоном и С. Берстайном мы задались целью поднять престиж политической истории и выдвинули идею написания сборника статей под названием «За политическую историю», как ответ «Анналам» и Ф. Броделю, которые специалистов по новейшей истории не очень-то жаловали. Сборник был полемический, детище команды Нантер-Sciences-po. Я написал в нём введение, выступив сторонником обновления политической истории историей культурной, т.е. изучением образов, рефлексией. А потом я заметил, что, когда обновлялась политическая история, совсем не уделялось внимания СМИ. Шли уже 1970-е, и тогда на меня очень повлиял друг семьи Пьер Нора. Когда он написал свой труд «Творить историю», я обнаружил и задумался о том, что в нём совсем ничего не говорилось об истории радио и телевидения. Так я сам взялся за эту проблему в Sciences-po. С 1978 г. я начал вести семинар по истории аудиовизуальных средств, что было совершенно новым в преподавательской практике. Можно сказать, что с этого момента у нас в стране зародилась школа истории СМИ. Я убежден, что эта история способствует улучшению нашего знания о мире. И уже в течение 30 лет я рассматриваю политическую историю в этом ракурсе.

Я сменил Р. Ремона на председателем посту в сенатской комиссии по присуждению ежегодных премий за исторические книги. Вместе с Э. Гигу<sup>17</sup> я вхожу в президиум Комитета по изучению европейской нации. Мы каждый год в местечке Блуа (под моим руководством), в замке на Марн-ла-Вале, собираем франкофонных историков на три дня. Туда приезжает от 3 до 4 тыс. человек, и каждый год разворачиваются дебаты по разным темам. Например, обсуждали темы: «Восток», «Правосудие». В этом году – «Приход к власти». В будущем планируем дискуссию по проблеме «Годы 1970-е». Там же организуется книжный салон – единственный, где выставляются только исторические книги. Участие в комиссиях и передаче дает мне возможность уловить кое-что в эволюции мировой историографии. В течение 11 лет на радио «Франс кюльтюр» веду передачу, которая называется «Согласование времен». Важно, что последние 30 лет историков приглашают выступать на телевидение. Меня сейчас очень интересует проблема участия историков в общественной жизни. Я собираюсь открыть дебаты по теме «история и политика».

<sup>17</sup> Элизабет Гигу – видный член Соцпартии, была министром в правительстве Ф. Миттерана, ныне – депутат Европарламента.

Я – за междисциплинарность методов в истории. В Sciences-ро мне очень нравится то, что многие тут изучают историю и одновременно готовятся к какой-то другой специальности. С большим удовольствием я три года вел в его стенах семинар по сравнению политических культур. Сравнивал, например, христианскую демократию у нас и в Италии, Германии. Сравнительная история дает интересные результаты. Можно обнаружить в истории человечества иногда анахроничные, иногда синхронные процессы. Отсюда и родилась тема моей радиопередачи. Интересно, например, сравнивать избирательные кампании в Древнем Риме и сейчас.

Современная политическая история весьма обогатилась за счет вторжения в её пространство подходов и методов культурной истории. Хотя теперь мне кажется, что мы слишком увлекаемся ей, за представлениями, или репрезентациями мы перестали обращать внимание на факты. Мы все изучаем «образ того», «воспоминание о том», «память о том». Например, что касается периода правительства Виши. Это важно, особенно когда изучаешь радио и телевидение. Но из-за такого перекоса сейчас пропал интерес к истории социальной, экономической. Теперь эти дисциплины в кризисе, а когда я был студентом, они доминировали. В университете Париж-IV особенно ощущается тяга к обновлению истории международных отношений, в том числе дипломатической истории. Даже античная история во многом обновилась. Хотя надо признать, что курс на эволюцию исторического знания идет параллельно с превращением английского языка в язык межнационального общения. Отчасти поэтому французская историография, особенно новейшая, утратила свой престиж по сравнению со временем «Анналов» и Пьера Нора. Кроме того, появилась плеяда «историков правительства» (Норьель, например, один из таких), которая нападает на мэтров. Это те, кто при правительстве работают, узко мыслят, социально не очень себя прочно ощущают. Они выпускают массу «карманных книг», где критикуют мэтров, цитируют без ссылок меня, например, из моей книги «Республика нуждается в истории». Первой мировой войне посвящены сомнительные книжки, в которых рассуждают о том, почему шли солдаты на войну: из-за патриотизма или страха быть расстрелянными. Иными словами, выросло поколение историков как бы другой чувствительности. Для них наука – выдвинуть идею, и неважно, что она принесет. Это не мой подход. Между тем, важно, что сейчас история перестала быть замкнутой. Теперь можно самому открыться миру и открыть его для себя. Но все-таки нация остается. Я считаю, что до сих пор существуют национальные историографические школы, и это нормально. Хотя и нынешняя от-

крытость школ прекрасна. Если касаться новых исторических тем, то отмечу, что большой интерес сложился к жанру биографий, который в 1970-е годы у нас не приветствовался. Новые биографии интересны потому, что в них пишут не о том, что ел-пил тот или иной лидер, а о том, что было особого в формировании его личности, как и что повлияло на ее становление и эволюцию. Существует ещё одна проблема – финансирование изданий. Ну, и новые технологии ведут к тому, что пропадает интерес к книгам.

Если говорить о преподавании, то в первую очередь отмечу, что прежние поколения, в т.ч. мое, – мы были эгоцентристами, не могли говорить по-английски. Сейчас это обязательно. Хотя странно, когда студентам-французам предлагают обучение на английском. Другая проблема сейчас – нехватка студентов. В Sciences-po этого нет, но в Сорбонне наблюдается. Отчасти это и из-за проблемы финансирования образования. Я ничего не имею против Болонской системы. Она позволяет студентам путешествовать. В Sciences-po мне очень нравится то, что многие изучают в этих стенах историю и одновременно обучаются какой-то другой специальности. Когда мы преподаем историю, надо задаваться вопросом, что она нам дает, зачем она нужна. Преподавание истории требует постоянного обновления и обогащения, с одной стороны, сравнения настоящего с прошлым, а с другой – удовольствия от рассказа. Сейчас у нас идет очень много дебатов по вопросам преподавания истории в средней школе, в частности, в последнем классе лицея по специализации в естественнонаучной области. Надо поразмышлять над программами. В лицеях часто излагают историю по большим темам, а надо бы и с хронологией эти темы согласовать. А то я видел в одной программе, что войну 1940 года изучают перед темой о нацизме. Как можно объяснять войну, не рассказав предварительно о нацизме? Вообще, вопросы преподавания истории – это вечная борьба. Борьба между историей и СМИ. Особенно в условиях Интернета. Надо учить принципу классификации, готовить к использованию Интернет-ресурсов с умом.

*Морис Вайс, интервью записано в Институте политических наук (IEP) в Париже 16 декабря 2011 г.*

Почему я стал историком? Точно не знаю. Может быть, потому, что с детства любил историю, философию, политические науки, и, как всегда, это воля случая. Я учился в Сорбонне, посещал знаменитый семинар по истории 1930-х годов, который вели маститые историки Ж. Тушар, Р. Ремон, Ж. Жирарде. Когда сдал агрегационный экзамен, начал работать над диссертацией. Семья никакой роли в выборе про-

фессии не играла. Она даже меня немного побуждала задуматься о других профессиях, например, о медицине, адвокатской карьере.

Из тех, кого я особо почитаю, не стану перечислять ныне живущих, чтобы кого-то случайно не обидеть, а назову тех, кого уже нет с нами. Это Ж.-Б. Дюрозель, П. Ренувен, Р. Ремон. Все они были прекрасными историками и, в то же время, большими гуманистами, очень уважаемыми людьми.

Что касается существования национальных исторических школ, то в значительной степени, что, впрочем, не вызывает у меня опасения, они исчезают. Люди ведь все больше и больше трудятся по всему миру. Я бы сказал, что идет двойной процесс. С одной стороны, ученые сильно замыкаются в своей узкой специализации, а с другой – испытывают влияние других школ благодаря обмену, конференциям, совместным программам. Без сомнения, происходит формирование межнациональной исследовательской школы. В то же время появляются, например, американские работы по Франции, но ссылаются в них лишь на американских авторов, написавших о нашей стране. С одной стороны, выходят совместные труды, например, по Европе, ядерной безопасности. С другой – между исследователями сохраняется изолированность. Причина этой изолированности – лингвистическая. Поэтому я настаиваю на важности переводов или умения самих авторов писать на иностранных языках. Чего не хватает французской историографии? На мой взгляд, сравнительных работ. Особенно по международным отношениям. Смотреть, что происходит по другую сторону границ – это желательно. Нужен к тому же постоянный диалог с другими научными школами. Его прекрасно можно вести во время совместных научных форумов. Конференции позволяют как раз узнать другие школы и то, как ведут они свои исследования. Нужен живой диалог. Раньше диалог между учеными велся в письмах, теперь – по Интернету, но для меня живое общение важнее.

Сейчас проходит много манифестаций за то, чтобы больше места отводилось преподаванию истории. Я считаю, что очень важно учить историю в средней школе. Но не надо создавать слишком замкнутый корпус учителей. И не стоит им слишком рьяно обороняться. Не мешало бы им тоже заниматься исследованиями, иметь научные публикации. Думаю, что школьная реформа не должна сводиться только к вопросу о количестве учебных часов по истории. Я не безоговорочный сторонник Болонской системы потому, что не стало общих годовых университетских циклов, в ходе которых прежде можно было увидеть прогресс студентов. Если раньше в Sciences-po было 14 учебных недель, то теперь – 12, а то и 10. Я не уверен, что за 10 недель

можно изучить крупную историческую проблему. С другой стороны, мы в нашей образовательной системе предприняли много усилий, чтобы освободиться от национальных рамок. Очень продвинулись мы в написании учебников. Считаю, что стоит внимательно рассмотреть проблему использования источников в преподавании истории.

*Элизабет дю Рео, интервью записано в университете Париж III, Новая Сорбонна 10 декабря 2011 г.*

Я принадлежу к поколению, которое выросло в конце Второй Мировой войны. Я родилась и жила на востоке Франции, в городе Сантье департамента Вогезы, который находился на территории, оккупированной немецкими войсками и, надо сказать, оккупация была довольно суровой. Поэтому я постоянно задавалась вопросом о том, почему французы всегда должны делать то, чего требуют немцы. Я не понимала этого. Потом, в дни Освобождения, я спрашивала себя, почему пришли американцы, чтобы нам помочь. Словом, все эти вопросы будоражили моё детское воображение. Мне дома часто повторяли: чтобы найти на них ответ, надо изучать историю. Возможно, поэтому в лице я очень интересовалась историей. К тому же мне повезло на встречи с интересными людьми. Родители мои были тесно связаны с крупными бойцами Сопротивления, которые говорили со мной о своей борьбе. Потом семья моя переехала в Нормандию, где отец рассказал мне о депутате от округа Эр этого департамента Пьере Мендес-Франсе<sup>18</sup>. Однажды я сопровождала отца на большое собрание в мэрии. Правда, мой отец не был радикалом, как Мендес, он был христианским демократом, поэтому иногда критиковал Мендеса. А я удивлялась, откуда и почему такая критика, иногда думала, что, может быть, радикалы слишком светские, слишком активно выступают против частных религиозных школ. Ещё, однажды меня удивила фраза отца, когда он, придя домой, сказал: «Сегодня родилась новая Германия» (имеется в виду образование ФРГ в 1949 г. – Г.К.). Вскоре и правда, появилось новое поколение немцев, которое стало контактировать с Францией. Все это меня очень удивляло. Потом последовал мой первый вояж за границу, в Рейнскую землю Германии в составе молодежной группы христианских демократов. Во время этого путешествия мы встретились с итальянцами. Это было в 1950-е гг., когда закладывались основы контактов христианской демократии. Меня очень впечатлили также события, связанные с оставлением французами Индокитая (1954 г. – Г.К.), поражением Франции во время Суэц-

<sup>18</sup> Премьер-министр Четвертой республики в 1954–1955 гг.

кой экспедиции (1956 г. – Г.К.) и с советской интервенцией в Будапешт (1956 г. – Г.К.). Ответы профессоров лицея на вопросы по поводу всех этих событий меня не удовлетворяли, и тогда я начала читать. Я очень много читала, в том числе биографий. Учебу начала в католическом институте г. Анже, затем продолжила в университете Ренна, где меня поначалу очень привлекла история Латинской Америки. Но к началу 1960-х гг. я твердо решила поступить в Сорбонну. Там меня увлекла древняя история, особенно археология. Однако надо было выучить греческий язык, а у меня не получилось его хорошо освоить. И тут профессор греческого посоветовал мне обратиться к Жану-Батисту Дюрозелю, который только что пришел в Сорбонну и предложил студентам работать в его семинаре по истории Первой мировой войны с прицелом на защиту диплома, а потом и диссертации. Я записалась в этот семинар, а когда мне надо было выбирать тему диссертации, появился закон об открытии архивов спустя не пятьдесят лет после прошедших событий, а тридцать. Так открылась возможность заняться новейшим периодом истории, и я начала работать по специализации «политические науки» над темой о политике Э. Даладье.

Кроме Ж.-Б. Дюрозеля, сыгравшего судьбоносную роль в становлении моей профессиональной карьеры, назову ещё некоторых учителей, способствовавших моему научному росту. Это П. Ренувен, П. Шоню, молодой в то время преподаватель Сорбонны М. Эймар. Если вспомнить о впечатлениях об историографических дискуссиях времен моего студенчества, хочу отметить, что в то время, когда над темой Революции 1789 г. активно работали и шли в авангарде коммунисты, было совершенно невозможно в семинаре у А. Собоуля брать такие темы, как Вандея, то есть критиковать некоторые аспекты революции. А с Ж.-Б. Дюрозелем мы очень много обсуждали и эту тему, и «школу Анналов». В его семинаре мы могли свободно и критически говорить о марксистской историографии. Например, там я познакомилась с Ж. Дюби, который, хотя и был марксистом, но тогда уже несколько от него дистанцировался. Особенно на меня произвели впечатление дебаты о происхождении Первой и Второй Мировых войн. Словом, наша группа у Ж.-Б. Дюрозеля была очень активной в научном плане. Из нее вышло много видных ученых. Например, П. Мильза, М. Вайс. В рамках этой специализации по истории международных отношений, затрагивались темы, связанные с Россией, но из-за недоступности российских архивов исследования были затруднены. Гораздо лучшие контакты развивались с Великобританией; побывала я и в США. Очень большую роль в моей карьере сыграл Р. Ремон. При подготовке диссертации я работала с архивами Э. Даладье в возглав-

ляемом им Фонде политических наук. Благодаря Р. Ремону, я познакомилась с членами семьи Э. Даладье, брала у них интервью. Там же, в Sciences-po, я установила научные контакты с другими крупными специалистами – П. Мильзой, С. Берстайном, с их Высшим циклом социальной истории XX века<sup>19</sup>. То есть у меня как бы две научные семьи: Сорбонна и Sciences-po. Я не забуду первую крупную конференцию, организованную в Sciences-po в 70-е годы прошлого столетия по истории 1940-х годов, где мне довелось выступать впервые. Потом были другие важные конференции: по истории Виши, по президентам Франции. На них я познакомилась с двумя видными специалистами по истории колониальной политики – Р. Ажероном и Б. Стора. Надо отдать должное и культурной истории, начало развитию которой положил Паскаль Ори, а ныне продолжает Ж-Ф. Сиринелли.

Важную роль в исторической науке и для меня лично сыграла особая группа по истории Второй Мировой войны. Именно в ее рамках на конференциях можно было встретить русских коллег. Например, мне запомнилась конференция в Монпелье, посвященная истории Первой мировой войны, где было специальное обсуждение отношений Франции и тогдашней России. Очень меня впечатлил еще один сюжет. Когда на одной из конференций по истории Второй Мировой войне, где присутствовали польские ученые, был задан вопрос о Катыни, польский докладчик ответил, что не хочет говорить на эту тему. Теперь в этой проблеме нет «белых пятен», а тогда, в начале 1980-х, некоторые проблемы были табуированы в марксистской историографии. Благодаря Ж-Б. Дюрозелю, мы смогли пригласить на преподавательскую работу в Сорбонну одного чешского историка, покинувшего страну в 1968 г. С 1990–1993 гг. по совету П. Мильзы я начала изучать историю европейского строительства в XX веке (имеется в виду европейская интеграция – Г.К.). Мне повезло поработать в архивах Брюсселя, Флоренции, Женевы. В рамках этого проекта я начала активно контактировать со странами Восточной Европы: Чехией, Польшей, Венгрией. Удалось неоднократно выступать с докладами и в России.

В начале моей карьеры мне пришлось преподавать в средней школе, что очень помогло мне понять ее проблемы. Мне кажется, что основная трудность преподавания истории в лицах на протяжении последних двадцати лет кроется в сильном перекосе в сторону истории тематической в ущерб хронологии событий. Например, учат так: проблемы экономических кризисов, проблемы колониальной истории,

<sup>19</sup> Автору данной статьи также посчастливилось длительное время участвовать в работе этого цикла: в 1990–1991 и 1993–1994 гг. – в качестве стажёра, а в 1995–2002 гг. – практически ежегодно в качестве приглашённого профессора.

проблемы политических кризисов. Все учителя говорят, что из-за такого построения учебной программы учащиеся абсолютно потеряны, так как им трудно ориентироваться и понять, как вписываются эти проблемы во временные исторические отрезки. Что касается переживших немало реформ университетов, то я принимала участие во внедрении в Сорбонну Болонской системы. Согласно ей, унифицировалась система обучения в Европе по схеме: 3 года – лицензиат, 2 года – мастер и 3 года – диссертация, хотя в этот срок мало кто ее защищает. Положительным нахожу в реформе то, что она позволила студентам поучиться в разных европейских университетах. Много наших студентов отправляется в Германию, Англию. С США пока эта система меньше действует. Основные трудности от внедрения Болонской системы проявляются на 4-м и 5-м годах обучения. Сегодня в силу разных причин, и не в последнюю очередь финансовых, после лицензиата многие студенты задаются вопросом о том, нужна ли им диссертация, перед написанием которой обязательно надо пройти программу «мастер-2», и что она дает. К тому же у меня возникают сомнения в том, можно ли, руководствуясь одинаковыми критериями при подготовке специалистов, скажем, в информатике и истории?

*Жан-Кристоф Ромер, интервью записано в университете Париж-1, Сорбонна 29 октября 2014 г.*

Историком я стал в силу многих обстоятельств. Сначала, в 1966–1968 гг., учился в Sciences-po Парижа, специализировался по социологии и по странам Восточной Европы под руководством Элен Каррер д’Анкос. Диссертацию 3-го цикла<sup>20</sup> посвятил изучению творческого наследия советского академика Е. Варги. Иными словами, изначально специализация моя не чисто историческая. Диплом Sciences-po открывает широкие возможности для выбора профессии. А для дальнейшей научной работы, т.е. тогда – докторской диссертации, я обратился к Р. Жиро. Так я оказался в группе специалистов по международным отношениям, свой сюжет по Е. Варге попытался вписать в работу группы, но интересовался скорее проблемами стратегическими, поэтому для темы диссертации под руководством Жиро выбрал проблему стратегической ядерной культуры СССР в период 1947–1955 гг. В советских архивах того времени невозможно было работать, но когда они открылись, лишь подтвердили то, о чём я написал в диссертации. То есть, опираясь на доступную в те годы советскую литературу,

---

<sup>20</sup> До 1978 г. во Франции существовало две диссертации – кандидатская, которую называли «диссертация 3 цикла», и докторская.

например, журнал «Военная мысль», можно было мою тему раскрыть. Этот журнал можно было получить тогда так: полякам присылали в посольство из СССР, те передавали американцам, а те – нам. Мне сделал необходимые копии коллега из Стенфорда. В итоге – сначала я был советологом. Диссертацию защитил в Париже-I, и у меня двойная специальность: история и политические науки. Это был политический анализ исторического сюжета, поэтому в жюри у меня были специалисты разного профиля, в том числе по проблемам обороны. Моя защита совпала с периодом, когда у нас отменили диссертации 3-го цикла, поэтому мне пришлось свою приспособлять к требованиям абилитации. Тут пришлось доработать сюжет: взять стратегическую ядерную культуру СССР в период 1947–1955 гг. и сравнить её с трансформацией в 1970-е годы. Иными словами, мой путь – не классический путь историка. Классический – это Эколь нормаль, агрегация, доцент в университете, потом пост профессора. Получается, чтобы стать профессором, надо в лицее поработать. Агрегацию, я, правда, прошёл. Но, на мой взгляд, работа в лицее и в университете сильно разнится. В лицее учат знанию уже известному. Университет даёт знания о неизвестном. А абилитацию я проходил после её введения вторым во Франции, после Р. Франка как историк политики. В жюри у меня, помимо Р. Жиро, были М. Ферро, М. Лессаж, М. Вайс и др. Сюжет моей абилитации был «Советский Союз и распространение ядерных испытаний». А потом, по приглашению Р. Подвана, в 1993 г. я вошёл в исследовательскую группу Института Европы в Страсбургском университете.

Если говорить об эволюции исторического знания, то бросается в глаза тот факт, что, когда университетские реформы идут одна за другой, каждая дисциплина старается сконцентрироваться только на себе, что у нас и происходит в последние 15 лет. Идёт поиск исторической идентичности. В Страсбурге я столкнулся, наоборот, с открытостью взглядов, открытостью другим дисциплинам. Я – не сторонник нашей системы подготовки элит. У нас нет специалистов широкого плана. Когда надо выбрать дипломата, приоритет выпускникам ЭНА, но не специалистам. Во всей Франции это касается не только историков, но и других специальностей. Продолжатели французской традиции П. Ренувена по истории международных отношений: Ж-Б. Дюрюэль, Р. Подван, Р. Жиро, Р. Франк, Ж-А. Суту, Ф. Бозо, Л. Бадель. Часто путают проблему внешней политики Франции с международными отношениями. Например, когда пишут о взаимоотношениях Франции и России, Алжира, какой-либо другой страны, часто смотрят через призму отношения Франции к ним. Но это не международные

отношения. Международные – когда и отношения другой стороны изучают. Причём надо знать язык той страны, о которой пишешь. Национальные историографические школы существуют. Американцы, например, когда пишут о Второй Мировой войне, не упоминают, что в июне 1941 года англичане были одни. Когда состоялась высадка союзников в Нормандии в 1944 г., моя мама вспоминала, что говорила: «Англичане пришли». А если бы не было Восточного фронта и России? В американской историографии не очень об этом рассуждают. Я не верю в объективную историю, её не существует. Хотя факты не надо забывать. У нас ведь сейчас не очень студенты представляют советскую политическую культуру, им трудно понять, что Л. Брежнев – это не И. Сталин, что значили при Брежневе годы мирного сосуществования. Сейчас молодёжь не представляет, что значило для СССР «открытие миру». Меня возмутило, когда польские студенты мне заявили, что американцы освободили Польшу в 1989 г. Они забыли своё движение «Солидарность»? То есть свою собственную победу они отдали США. Междисциплинарный институт у нас Sciences-po, где существуют и взаимодействуют юристы, экономисты, политологи, историки. Все они друг с другом контактируют в согласии. Необходимы контакты с историками других стран. Болонская система нацелена на однотипный магистерский образовательный стандарт. К тому же можно обмениваться студентами из разных уголков мира. Иногда появляются блестящие студенты. У вас в стране наблюдается две историографические тенденции: одна классическая, т.е. описательная, другая – более динамическая, сравнительная. У вас всегда, даже в советское время, были известные за границей историки. Например, у нас знали Е. Тарле. Многих французских историков ведь тоже не знают в мире, теперь надо публиковаться на английском.

*Ютта Шеррер, интервью записано в Высшей школе социальных исследований (EHESS) 14 декабря 2011 г.*

Я немка, моя семья покинула Восточный Берлин и перебралась в Западную часть, когда была построена стена (имеется в виду Берлинская стена, возведённая в 1961 г. – Г.К.). Так что юность моя и моё историческое сознание развивались в условиях раздвоенности. Во-первых, под влиянием того, что немцы сделали, из-за их ответственности за Вторую Мировую войну. А во-вторых, под влиянием последовавшей за ней холодной войны. Так как ребёнком я жила в Восточной Германии, там я изучала русский язык. Учительница наша не очень владела грамматикой, но обожала русскую литературу. В результате, уже в первый год обучения мы читали Тургенева по-русски. Можете

представить? Это было очень трудно, и я ничего не понимала в языке, но что поняла, так это то, что русская литература – это русская душа. И так как дети очень чувствительны, у меня оставалась любовь к России даже в условиях раскола Германии. И я попыталась соединить две вещи: историю и литературу.

Я очень рано вышла замуж (муж мой был швейцарец), и мы уехали в США. Там я училась в Гарварде. Там же и повстречала того, кто определил мою дальнейшую карьеру как историка. Это был профессор Георгий Суворовский, выходец из русской эмиграции, священник. Именно благодаря ему, я больше начала интересоваться интеллектуальной историей России, чем политической. Я защитила диссертацию о русской интеллигенции 80-90-х годов XIX века, о тех, кто начинал, как марксисты, как Бердяев, Булгаков, Струве, и кто сначала попытался соединить марксизм с этикой, а затем стал выразителем идей либерализма и религиозной философии. Я рассуждала в диссертации о том, что дал русской интеллигенции отказ от марксизма, и искала последствия этого.

После смерти мужа я отправилась искать работу во Францию. Там в 1960-е гг. сильно ощущалось влияние ФКП, в том числе и в научном мире. Многие интеллектуалы были коммунистами или идейно близки к ним. А те, кто были антикоммунистами, не интересовались историей России. Лишь коммунисты изучали русскую историю. Я не была коммунисткой, но изучала русскую историю, поэтому меня атаковали с двух сторон: и коммунисты, и антикоммунисты. Можно сказать, что атмосфера, царившая во французской исторической науке в 1970–1980-е гг. не благоприятствовала специализировавшимся по русской истории, кроме разве что тех, кто занимался XVI–XVII веками. А изучать историю XIX–XX вв. было проблематично. Более того, в научном мире Франции не так, как в США, Англии, Германии, относились тогда к интеллектуальной истории. Она не очень котировалась. Меня охватывало чувство, что я как бы и не совсем историк. Если бы я занималась экономической историей, то могла бы участвовать в семинарах Мориса Эймара. Интеллектуальная же история тогда для французов считалась скорее областью лингвистической. Поэтому я некоторое время преподавала как во Франции, так и в США.

Став в 1980 г. директором исследовательской группы в Школе высших исследований по социальным наукам, я была ещё и профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке. Высшая школа – это замечательный институт. Там ведутся только исследовательские семинары и только для студентов, пишущих диссертации. К тому же школа эта многонациональная. У меня было много немецких, американских и особенно итальянских студентов. После падения Берлин-

ской стены появились первые русские, украинские, польские студенты, что не могло не сказаться на моей ориентации как преподавателя. Студентов западных, работавших над русскими сюжетами, в первую очередь учили понимать текст. Ведь мы не могли поехать работать в архивах. К тому же, какие могут быть архивы по интеллектуальной мысли, религиозной философии? Мы искали сюжеты, над которыми можно работать, находясь здесь, во Франции или в США, через библиотеки. У меня самой неплохая личная библиотека, университетские библиотеки тоже богаты на русские книги. Поэтому я работала с текстами. Я совсем не была близка, например, к методике Ф. Фюре, опиравшегося на количественные методы исследования, или Ф. Броделя, занимавшегося экономической историей. Все мои коллеги, кто занимался другими темами, работали в архивах. Например, Ле Руа Лядюри. Я никогда не ходила в архивы, даже в 1990-е годы. По советскому периоду эти архивы необходимы, но не по другим, по которым уже многие источники опубликованы. Более того, когда в России я побывала в архивах, там мне предлагали фотокопии документов, что меня не устраивало. Появились ведь новые методы и проблемы, поднимаемые исследователями. Раз в неделю, по субботам я даю семинар по истории русской мысли. В этом году, например, весь год мы изучали творчество П. Чаадаева. Причем анализировали, как его тексты воспринимали в России современники, в начале XX века, наконец, сейчас. Годом раньше в таком же ракурсе изучали наследие В. Розанова. Когда в годы перестройки я впервые приехала в СССР, я была совершенно очарована жизнью советской интеллигенции, которая, на мой взгляд, чрезвычайно демократизировалась. В стране были гласность, свобода публикаций. И я принялась изучать современную историю, историю советской интеллигенции периода перестройки, 1990-х гг. В России многое изменилось после перестройки, а у нас многое изменилось потому, что изменилось у вас. Молодые историки в России сразу ринулись в архивы. В вашей стране появился огромный интерес к религиозной философии, издали Бердяева. На мой взгляд, может, теперь его даже слишком тиражируют. Раньше у меня не было ни одного русского студента в семинаре, теперь есть.

*Энтони Роули, интервью записано в издательстве «Сей» в Париже 12 мая 2010 г.*

Я историк по профессии, сдал агрегационные экзамены, защитил диссертацию по экономической истории, учился все время в Sciences-po и в 1981 г. я был избран в Sciences-po постоянным преподавателем. Я там работаю постоянно, и у меня имидж историка. Хотя на деле я скорее специалист по экономической истории и написал в этой обла-

сти много книг, в том числе по истории XX века. Например, о Европе в соавторстве с Ж.-М. Гайяром, об экономической истории России с 1850 по 1914 г. Многие мои работы опубликованы издательством «Сей», половина из них – заграничными издательствами. Но мне не хотелось все время преподавать и писать на один и тот же сюжет. Сейчас я уже лет 15 увлекаюсь изучением истории гастрономии и кухни, причем не только французской, но и европейской. Работая в Sciences-po, я познакомился со многими историками, но особенно один из них – Мишель Винок – стал моим близким другом. Благодаря ему, в 1981 г. я вошел советником в издательство «Кальман Леви», потом моя издательская карьера продолжилась в издательстве «Плон», где я постепенно перешел к публикации не только исторических работ, но и книг по антропологии. Я издал последние четыре книги К. Леви-Стросса. Потом я стал директором «Перрен» – первого издательского дома трудов по истории во Франции. Там как раз публиковались многие преподаватели Sciences-po и Сорбонны, отсюда появилась и коллекция «карманных книг». Потом Оливье Нора, который публиковал работы по истории в «Галлимар», предложил мне сделать то же самое в издательстве «Файяр», где я и продолжаю работать, не покидая, однако, и стен Sciences-po.

Что касается историографической панорамы Франции, то сегодня, на мой взгляд, в ней наблюдаются новые повороты, по сравнению с «местами памяти» П. Нора. Например, раньше идеи К. Леви-Стросса и Ж. Лакана считались неприемлемыми для общественных наук, особенно их избегали историки. Может быть, благодаря моему издательскому опыту, я начал понимать, что это ошибка, и считаю, что вопросы социологии, антропологии и психоанализа могут послужить историкам. Поэтому я и опубликовал труды Дени Крузе «Святой Варфоломей», Кристиана Инграо «Верить и разрушать. Интеллигенция в разведывательной деятельности СС»<sup>21</sup>. Мне представляется, что подобные книги очень важны для того, чтобы понять настоящее. Через них явно видны параллели между резней гугенотов в средние века и той, что происходила в недавнее время в Боснии. Или нельзя просто сказать про эсэсовцев, что все они дураки. Среди них были образованнейшие люди, защитило диссертации почти 80%. И такая жестокость! Откуда? Или возьмем примеры жизни Карла Шмитта и Хайдеггера. Крупнейшие ученые, мыслившие глобально, и такие убежденные нацисты. Какая судьба! Почему? Это надо объяснять в истории с помощью приемов социологии, антропологии и психологии. Еще один по-

<sup>21</sup> Во французском варианте: Crouzet D. La Saint-Barthélémy, Ingrao C. Croire et détruire. Les intellectuels dans les renseignements de la SS.

вод для размышлений можно извлечь из книг, посвященных колониализму. Явно, что как явление колониализм осуждали и критиковали. Но если посмотреть теперь, спустя 50 лет после крушения колониализма, то мы увидим, что освободившиеся страны в большинстве своем испытывают экономические трудности, во многих из них обострились социальные конфликты. Почему? Это тоже историкам помогают понять новые приемы. Наконец, сейчас наибольший интерес вызывают политические биографии, которым посвящено немало работ. Причем пишут эти книги по-новому, с привлечением приемов и методов из названных выше наук. В результате получается не просто жизнеописание отдельной личности, в работы вносится большой фон исторических событий, объясняющих и понимающих мотивов. Главное – попытаться не только рассказать, но объяснить и понять. То есть, как в антропологии: от деконструкции – к конструкции, иными словами – прийти при объяснении до самых маленьких ячеек, а потом сконструировать историю. И это очень интересно получается через политические биографии. Я знаю, что С. Берстайн, например, как последний столп позитивизма во французской историографии, явно с таким подходом не согласится, считая его неисторическим. Но, с моей стороны, когда я ратую за новые подходы, я не веду речи о вторжении в историческое познание этих наук в чистом виде, а всего лишь выступаю за применение их подходов для понимания истории.

*Марк Лазар, интервью записано в Институте политических наук (IEP) в Париже 18 мая 2010 г.*

Что меня побудило стать историком? Думаю, что первое – это школа. Учился я в Париже, историю начал изучать с начальной школы, она сразу меня привлекла тем, как ее рассказывали. Это была история славная и романтическая, способная вызвать слезы. Говорили о Бонапарте, о революции. Я был очень впечатлен взятием Бастилии и считал себя в юности бонапартистом и наполеонистом. В моем детстве ведь не было телевидения (я родился в 1952 г.), поэтому историю воспринимали через повествовательные образы, дома было радио и много книг. Вторая линия влияния на мое историческое призвание – семья. У меня она была очень политизирована, крайне левая, «коммунизирующая», как бы я ее назвал. В семье много говорили о политике, особенно отец – «попутчик коммунистов»<sup>22</sup>. Он был врачом, брал меня на праздники газеты «Юманите», которые меня сильно впечатляли. Во время праздников его многие узнавали, пожимали ему руки. Особо

<sup>22</sup> Так во время холодной войны называли представителей левой интеллигенции, не входивших в компартию, но симпатизировавших ее идеям.

повлияла на меня и алжирская война. В моей семье с самого начала выступали за независимость Алжира, но на улице нельзя было говорить о том, что обсуждают в доме, потому что по стране прокатилась волна покушений и преследований. Тогда никому не доверяли. Когда в 1961 г. ультраколониалисты устроили военный заговор, мой отец – участник Сопротивления, взял свой пистолет времен войны с намерением сражаться с оасовцами<sup>23</sup>. Собственно, я и вырос под влиянием Сопротивления. К тому же мой дед во время войны подвергался преследованиям как еврей. Поэтому в семье царил еще и антифашистский и антинацистский дух. После семьи и школы на меня очень повлиял лицей. Это был лицей Бюффон, где царила левая атмосфера. Среди учеников лицея было пять погибших участников Сопротивления, поэтому каждый год устраивались их чествования, что также не могло не оказать определенного влияния. Таким образом, с детства во мне очень сильна была левая политическая культура. А к 1960 г. мы были уже все политизированы, что и вызывало преклонение перед политикой и историей. Я участвовал в политической жизни в троцкистской организации. Троцкистская культура – это культура чтения. Они много читали, и я прочел «Русскую революцию» Троцкого. Сейчас я эти ценности несколько не разделяю, но тогда – да. Став студентом, я поначалу тяготел к археологии, но интерес к политике все же скоро перевесил. Поэтому в 1960-е гг. я был очень плохим студентом, учебой не занимался, а делал политику, и для меня не существовало истории, кроме той, которую предлагал марксизм, т.е. я был убежден в том, что классовая борьба существовала во все времена, начиная с античности. Сейчас мне стыдно за мое поведение, потому что я на лекции не ходил или устраивал забастовки и объяснял крупным преподавателям античности и средневековья, что они ничего не понимают в истории, раз не говорят о классовой борьбе.

Учиться я начал в 1976 г., в 24 года, когда оставил политику и попытался восполнить упущенное. Тоже не без помощи отца, который однажды сказал мне, что хватит делать революции, пора подумать о профессии и работе, ибо революция во Франции не состоится. Тогда-то я серьезно обратился к истории, причем не коммунистической и не марксистской. Так как я не учился, то с трудом прошел агрегацию: я ведь не знал, ни кто такой Ле Руа Ля Дюри, ни Жак Ле Гофф, ни Ж. Дюби, ни М. Блок. Я знал только Маркса, Ленина и Троцкого. Из тех ученых, кто повлиял на меня, назову, прежде всего, профессора

---

<sup>23</sup> ОАС – организация ультраколониалистов, выступавших против предоставления независимости Алжиру, устроившая не только военный заговор, но и покушение на де Голля.

философии Блондин Крижель, которая учила меня в последних классах лицея. Она была «коммунизирующая», поэтому в рамках учебной программы рекомендовала нам для чтения только «Капитал» Маркса и труды Спинозы. Но, изучая даже только эти работы, я научился от нее исследовательской строгости. Очень любила Б. Крижель и историю. Это она меня сориентировала в класс «ипокань», в который я поступил в лицей Севра. В этом лицее я встретил еще одного, сильно на меня повлиявшего профессора – мадам Павар. Хотя, как я уже говорил, записавшись после «ипокань» в Сорбонну, я кинулся делать политику и на долгие годы прервал учебу. Я срывал курсы К. Николе, других маститых ученых, за что, повторяю, мне сейчас стыдно. Но когда я вернулся к учебе, я открыл для себя Ле Гоффа, Ж. Дюби, М. Блока, Ф. Броделя, Р. Ремона, Ф. Фюре. Их я открыл через книги, не зная лично, а лично на меня сильно повлиял Жак Жюльяр, под руководством которого я и защитил диссертацию в Высшей школе социальных наук. Несмотря на то, что позже он оставил Школу и стал журналистом, ему принадлежат серьезные работы по истории рабочего класса в XIX – начале XX века. Что в нем поражало, так это его свобода в творчестве. Он никогда не был историком-конформистом. Под его руководством я «демарксизировался» и узнал, что такое настоящий интеллеktуал. Узнал я также, что он был левым католиком. Для меня это было нечто! Ведь раньше я считал, что такое сочетание ненормально. Кроме Ж. Жюльяра, на меня сильно повлияла в профессиональном плане Ани Крижель. Она меня образовывала по истории коммунизма. А. Крижель – лучший специалист по истории коммунизма в Европе и мире. Она была антикоммунисткой и в то же время крупным специалистом по истории коммунизма. Ее отличало то, что она ненавидела упрощенные подходы и ответственно подходила к работе, требуя того же от других.

Затем, постепенно я открыл Рене Ремона, который был в жюри по моей диссертации. Назову еще Жана-Франсуа Сиринелли, Сержа Берстайна, Пьера Мильзу. Все они важны для меня как историки. Потом, на 1986/87 учебный год я уехал учиться во Флоренцию. Там я тоже повстречал крупных специалистов, в частности, Даниэля Роша, занимавшегося европейской политикой. Таким образом, я сформировался в профессиональном плане под влиянием двух тенденций: французской и – в Италии – европейской и американской политической науки. Потом М. Дюверже и Ж. Блондель пригласили меня на научно-исследовательскую работу в Сорбонну. Я как-то одновременно начал заниматься историей, политическими науками и социологией. Я немного знал лично Алена Турена, но с его работами был знаком хорошо. Потом я встретил Ф. Фюре, к которому особенно проникся

после появления его книги про коммунизм<sup>24</sup>. У меня есть разногласия концептуального плана с Сержем Берстайном. Он считает, что сначала надо работать с документами, а потом выдвигать гипотезу, а я, напротив, считаю, что сначала надо выдвинуть гипотезу, а потом, как учат социологи, искать документы, чтобы или ее подтвердить, или опровергнуть. Тем не менее, наши разногласия не помешали С. Берстайну поспособствовать моему вхождению в Sciences-ро, что лишний раз подтверждает его человечность. Я ему очень обязан. У него большая свобода мысли и творчества. Кроме того, я очень уважаю, лично знаю и сотрудничаю в докторантской школе с преподавателями Гарварда, крупными специалистами, в том числе и по французской истории. Еще меня очень вдохновляют труды Мориса Огюлона. Я его видел раза два-три. Он вообще был довольно скрытный, осторожный.

В моей памяти навсегда сохранились субботние семинары в Нантере, которые проходили раз в месяц, длились весь день, и куда приходили историки-мэтры и мы, молодые, для обмена мнениями. Сейчас студентов не заставишь приходиться по субботам, а тогда эти семинары притягивали массу народа. Я участвовал вместе с Ж-Ф. Сириелли, П. Ори, мы там были самые молодые, хотя они и постарше меня. Из крупных историков в семинарах участвовали Р. Ремон, Ж-Ж. Беккер и др. Там и студенты делали презентации. Р. Ремон приходил, как правило, после обеда. И однажды я был шокирован тем, что, слушая студента, он писал письма министрам и другим важным чиновникам. Сначала я думал, что он не слушает, но Ремон мог вдруг вставлять такие реплики или задавать такие вопросы, что я понял, что он делает оба дела сразу – ответственно и осознанно. Очень мне запомнился и семинар Ани Крижель по истории коммунизма, тоже в Нантере. Там много было свободы, туда приходили специалисты из CNRS<sup>25</sup>, нам посчастливилось услышать на них многих маститых ученых.

Я думаю, что, начиная с 1980-х гг., французская историография слишком специализировалась и расплылась. Существует еще дух «Анналов», Sciences-ро, Высшей школы, CNRS. Направление «Анналов» сохранилось, но оно сейчас не очень влиятельно. Развиваются направления по истории культурной, политической и проч. Но что меня больше всего поражает, так это узкая специализация исследователей по определенным периодам, тогда как Р. Ремон, С. Берстайн и другие представители старой гвардии имели более широкий диапазон

<sup>24</sup> Имеется в виду книга «Потерянная иллюзия», переведенная в 1996 г. на русский язык.

<sup>25</sup> CNRS, Centre Nationale des recherches scientifiques – Национальный центр научных исследований.

мышления и считаются мастерами синтеза и глобальных обобщений. Они могли охватить сразу XIX–XX вв., руководить семинарами, охватывающими длительный исторический период. Сегодня ситуация изменилась. В целом, так случилось по причине возникновения спроса на историческую продукцию такой-то специализации, таких-то сюжетов. Удовлетворить подобный заказ подчас доступно лишь коллективам исследователей. Я сожалею об этом, мне не хватает этой общей исторической культуры, и я думаю, что такое положение дел характерно не только для французской, но, как мне кажется, и мировой историографии. Теперь все решают коллективные проекты, контракты, деньги. Раньше историки были индивидуалистами. С другой стороны, хорошо, что история становится все более интернациональной. Наряду с этим во французской историографии обозначилась еще одна проблема. Дело в том, что многие наши историки интересовались только своей историей, «варились в собственном соку», и следствием этого стало то, что французская историография оказалась немного провинциальной. Мы теперь маленькая провинция большого мира, и французские историки только теперь начали это осознать. Я же почувствовал это раньше, потому что довольно рано побывал во Флоренции, в Европейском университете. Проблема эта усугубляется еще и тем, что историки наши писали только по-французски, а сейчас надо писать по-английски. Это когда все зачитывались «Анналами», тогда все и учили французский язык, но теперь эти времена прошли. Историческая наука сегодняшних дней более открытая и носит сравнительный характер. В нашем Sciences-ро молодежь двуязычная, все владеют английским языком, а иногда еще и каким-то другим.

Итак, подчеркну еще раз, что нынешние исторические исследования требуют коллективных усилий, решают задачи сравнительного плана, зависят от денежных вливаний. И вдобавок – сегодняшняя история междисциплинарная. Часть историков обратила свои взоры на антропологию, другая опирается на социальные науки, еще одна – на социологию, а некоторые создают культурную историю. Я рад этому, потому что в новых подходах отнюдь не растворилась и история хронологическая и фактологическая. Касаясь имен, назову прежде всего Пьера Розанваллона и Франсуа Фюре, создавших концептуальную политическую историю, Рене Ремона, заложившего основы глобальной политической, культурной и социальной истории. Признанный специалист в области истории антропологической – Морис Огюлон. На мой взгляд, А. Крижель и Ф. Фюре вообще не поддаются классификации. Ф. Фюре ведь значительную часть своей жизни работал над созданием своей теории с философами. Теперь Ж-Ф. Сиринелли и я воплощаем

идеи Р. Ремона по политической культуре. Я занимаюсь политической культурой левых. Сегодня многие политологи пришли работать в историю. Произошел исторический поворот в политической истории. Хотя нельзя не отметить, что на этом фоне как-то перестали уделять внимание истории государства и его институтов, конституционному устройству. Но в целом, историческая наука сегодня во Франции процветает. Стали, например, появляться интересные работы по истории Первой мировой войны, которые порвали с прежней традицией описания войн. В этих работах авторы размышляют о насилии во времена войн, о социальных последствиях «выхода» из войн. Я сам представляю себя как историка, который занимается политической историей, опираясь на методы антропологии и социологии. Однако историки считают меня слишком политологом и социологом, а политологи и социологи – наоборот, слишком историком.

Я никогда не забываю М. Блока и Л. Февра, всегда по программе рекомендую их читать студентам. Ценю также Ф. Броделя, М. Огюлона, Р. Ремона и П. Нора. Я слушал курс П. Нора в Sciences-po, и это было великолепно. Он историк, обладающий экстраординарной элегантностью. А на работу в Sciences-po вести курс «История и политическая социология Европы» меня сначала пригласил Д. Кола. До этого я выдвигался на пост доцента в Нантер и Париж-I. В Нантер не прошел, а в Париж-I меня приняли, и там я проработал 4 года. Наконец, мою кандидатуру на должность руководителя школы докторантов в Sciences-po поддержал С. Берстайн. Sciences-po – это была моя мечта, так как здесь чрезвычайно развита междисциплинарная история, горячим сторонником которой я являюсь. В университетах этого нет. Словом, я всем обязан С. Берстайну.

Я думаю, что больше не существует национальной историографии, чему рад. Не секрет, что много интересных работ по истории нашей страны написано иностранными специалистами. Например, очень интересно о нашем Старом режиме XVII–XVIII вв. написал американец Стивен Каплан. Зато остается национальная традиция в образовательной методике. Например, если на конференциях выступает француз, то он начнет с краткого вступления, потом изложит план, а потом приступит к содержанию доклада. Итальянец будет бесконечно читать свое вступление, объясняя, кто что написал. Учитывая то, что на доклад обычно отводится 30 минут, у него не останется времени на основную часть. А американец начнет с анекдота и вслед за тем из него будет развивать сюжет уже на основе источников. К тому же во Франции историю преподают в неразрывной связи с географией, чего нет в других странах. Зато наши историки не изучают антропологии,

социологии, философии, права. А в Германии, например, совершенно невозможно проходить абилитацию по теме диссертации, как это делается у нас. Иными словами, налицо разница в процессе формирования историка. В качестве положительных сдвигов в этом процессе можно назвать то, что сегодня во Франции нельзя защищать диссертацию, не цитируя работ иностранных специалистов, равно как и то, что наши студенты, благодаря Интернету, свободно ориентируются в информационном пространстве. И все же теперь у истоков многих новейших исследовательских подходов стоят американские историки. Многие ведущие научные школы находятся в США. В них впервые начали изучать гендерную, сексуальную историю и т.п., тогда как во Францию все эти направления пришли запоздало. Мне жаль, но это так. Хотя постепенно и мы подключаемся к освоению новых тем, участие в крупномасштабных проектах по изучению войн, общественной политики, холодной войны. В нашей стране неплохо развиваются история культурная, репрезентативная, европейская. Интересно, например, понять, почему американская массовая культура победила советскую. Раньше все объясняли деньгами, военной мощью, богатством экономики, но очевидно, что такого объяснения недостаточно. Историческое пространство глобализуется, но в нем сохраняются различия в методике преподавания и требованиях к подготовке специалистов. Так, итальянские историки начинают учиться с усвоения того, кто что написал: Н. Макиавелли, Б. Кроче, А. Грамши. Причем читают они труды предшественников не критически, тогда как американские историки все прочитанное подвергают критике. В Германии истории обучают очень по-философски и по-социологически. А во Франции история идет рука об руку с географией. Отчасти поэтому в нашей стране крупные специалисты-новаторы, такие, как Ф. Бродель, не работают в университетах. Их быстренько отправляют в Высшую школу социальных наук или в Коллеж де Франс, или же в Sciences-po. Сегодня французской историографии явно не хватает выхода на международный уровень и открытости к другим дисциплинам, в том числе философии, антропологии, социологии, теоретическим и политическим наукам. Такую открытость можно наблюдать в Высшей школе, но в университетах, особенно в провинции, студенты изучают историю по прежней схеме: Античность, Средние века и т.д., география. И опираются там в основном на историографию французскую. Наряду с открытостью сегодня велика значимость трудов коллективных. Я много таких выпустил, но не все историки приветствуют их появление. Бесспорно, коллективные исследования должны совмещаться с индивидуальными. У меня много проектов по сравнительной истории левых сил и государства в Европе: Франции, Италии, Герма-

нии, Англии. Есть и индивидуальный проект, посвященный изучению взаимоотношений левых и государства во Франции в XIX–XX вв. Задумал я также написать книгу по итальянской истории, опираясь на методы антропологии и социологии, посвятив ее «вульгаризму и рафинизму» в Италии, ибо представляется мне, что страна эта наиболее «вульгаризирована и рафинирована» в мире. Книга будет о С. Берлускони. На его примере я и попытаюсь рассмотреть этот феномен.

*Ив Коэн, интервью записано в Школе высших социальных исследований по социальным наукам (EHESS) 28 октября 2014 г.*

Историком я стал отчасти по воле случая, потому что по окончании лицея сдал «бак» по филологии и хотел специализироваться в университете по философии. В университете два года проучился на математическом факультете, потом, как раз после Майских событий 1968 г. я оставил университет. В то время я входил в группу маоистов, которые тогда были одержимы идеей отправлять студентов трудиться на заводах рабочими, чтобы там заниматься политической агитацией. Я начал работать рабочим на заводе «Пежо» на востоке Франции, в 80-ти км от Безансона, оставив таким образом, учёбу, и не собиравшись ее продолжать. Но в конце 1968 года я был арестован полицией и получил 15 месяцев тюрьмы по обвинению вместе с другими моими товарищами за то, что во время столкновения с полицией напал на полицейского. В те годы я был очень известным левацким лидером, хотя было мне всего 19 лет. В тюрьме я и решил продолжить учёбу, а так как я тогда был марксистом, знание истории казалось для меня очень важным, а я в этой сфере оказался совершенным нулём. Так в тюрьме прошёл мой первый год изучения истории, за который я сдал в тюрьме экзамен. Хотя потом я снова оставил учёбу, но также прекратил заниматься политикой, вышел из маоистской организации и с 1973/74 учебного года снова возобновил изучение истории в университете Безансона. Мои дипломы и диссертация были посвящены истории завода «Пежо»: сначала рабочему и профсоюзному движению, а потом проблемам и практике организации труда на этом предприятии. Тогда это была ещё диссертация 3-го цикла, после защиты которой я уже твёрдо решил продолжать заниматься историей. Переехал в Париж, год работал библиотекарем в Фонде ле Корбюзье, потом перешёл на работу научного сотрудника как историка в научно-технический музейный комплекс «Ля Вилет», в небольшой отдел по истории науки и техники, став исследователем разного рода отношений этого центра. А потом, в 1995 г., я перешёл в EHESS как директор исследовательского центра. Моя семья была исключительно коммунистической. Дед

по отцовской линии был лингвистом, одним из первых университетских профессоров-коммунистов. А отец мой был корреспондентом «Юманите» в Москве в конце 1940-х гг., потом стал одним из ведущих сотрудников, затем – директором коммунистического журнала «Ля нувель критик» и специалистом по истории СССР. Он работал вместе с Жаном Канапа, членом ЦК ФКП. Отец в годы войны был депортирован в концлагерь Аушвиц. А мать моей матери вообще погибла там в газовой камере. Обе семьи моих родителей были эльзасскими евреями и давно осели во Франции, может быть, с 1800-х годов. Мать моя была участницей Сопротивления, за что и была арестована, а бабушку арестовали, как еврейку. Она была арестована в Париже французской полицией по указанию оккупантов.

На моё становление как историка очень сильно повлиял Марк Блок, но не меньше и Мишель Фуко. Как только я оказался в 1980 г. в Париже, я начал слушать его выступления. Назову ещё и Мишель Перро, крупного специалиста по рабочей истории и истории женщин. М. Фуко оказал значительное влияние на развитие исторического знания. История для него стала полем для размышлений. Он думал, рассуждая как историк, и очень серьёзно относился к исторической науке. В своей исследовательской деятельности он опирался на архивы, библиотеки. В то же время Фуко не отказался от привнесения в историю философских понятий. В этом и состояла сила Фуко. Он поистине побудил историков к постановке многочисленных вопросов. Некоторые историки задавались вопросом о том, является ли его творчество историей. Ж. Ле Гофф, например, очень внимательно следил за каждой его публикацией. Они оба начали очень интересную дискуссию о тюрьме. Многие историки оказались в затруднительном положении от такого сюжета, как история тюрьмы. Он их стеснял, мешал им. После того, как Фуко опубликовал книгу о тюрьме в 1980 г., М. Перро инициировала научную дискуссию, организовала встречу М. Фуко с такими историками, такими, как Ж. Ревель, Ж. Леонар, который тоже изучал тюрьму, и др. Историкам было очень важно оценить вклад Фуко в науку, причём не занимая оборонительную позицию, и этому во многом поспособствовала М. Перро. Фуко разрушил общепринятые границы исторического исследования. С точки зрения философской, очень интересно, как Фуко выбирал сюжеты для исследования. Он к ним приходил через собственную практику, обратил внимание на акторов исторического процесса, что немаловажно. Словом, это был исторический вызов мировой исторической науке. Может, в США не очень высоко его творчество оценили, но в Европе – Германии, Италии – весьма. Что для меня важно в работе М. Фуко о тюрьме, так это то, что он начал рассматривать практики. Для меня

это значит подходить к сюжетам с самых разных сторон. Это как бы встреча с тем, что говорится и что делается. Это изучение слов, языка и практических действий, или дискурсивных практик. У Фуко – это практики заключения, медицинские практики, безумия. И я начал заниматься историей социальных практик. Творчество Фуко помогло мне отойти от серийной и количественной истории, или истории длительного времени. Я тогда был под сильным влиянием творчества Фернана Броделя и Пьера Шоню. Их история европейской экспансии меня интересовала, но заниматься я в таком русле не хотел.

Поворот Фуко помог мне выбрать свой метод исторического исследования. Я совершил архивное открытие, введя в научный оборот личный рабочий архив инженера, проработавшего на «Пежо» 20 лет. Это архив социальной практики конкретной фигуры, и его значение в том, что это архив организации работы на заводе за длительный межвоенный период: от 1914 до 1940 г. Там содержатся материалы о дискуссиях директора в цехах, в заводских бюро. Оттуда видно, как обсуждались и решались на местах проблемы завода. Можно уловить также идею руководства в лице руководящей личности. В этом архиве много биографических сведений, свидетельств очевидцев, рабочих заметок, переписки, отчётов и протоколов собраний. Таким образом перед нами источник по субъективной оценке собственной практики. В то время существовала научная организация труда (НОТ), и меня очень интересует, как общая НОТ решалась на местах, как циркулировала она по всему свету, и в этом ключе я работаю с одним коллегой – Т. Раджем, по происхождению индийцем, который изучает, как британский рационализм в организации труда внедрялся на индийскую почву, и какое обратное воздействие оказывала на это внедрение собственно индийская система организации труда. В широком плане эта проблема выходит на тему о транснациональной циркуляции некоторых социальных практик, теорий, т.е. от локальной истории таким образом можно сделать шаг к глобальной, или транснациональной. Это и в известном плане сравнительная история, о которой можно нередко услышать от коллег, что её время прошло. Ведь ещё М. Блок в 1928 г. написал сравнительную историю Европы.

Я думаю, что до сих пор наша историография слишком франко-французская. Мы ещё в самом начале пути транснациональной, циркулятивной истории, лет 20 всего. Для французских историков Новая история начинается с 1492 г. и заканчивается в 1789 г., что очень европоцентрично. Новейшая история начинается с XIX века. Это классическое французское деление. Но для США существует другое деление. Для нас XX век начинается с 1914 г., вслед за Хобсбоумом. Для Германии – с 1890 г. Думаю, что нельзя связывать с 1914 годом нача-

ло XX века, ибо много произошло событий на рубеже веков. Именно с точки зрения мировой истории, а не только европейской. Даже в России промышленный подъем произошёл на рубеже веков. У нас сейчас очень интересный специалист по истории XIX в. Доминик Калифа исследует историю преступлений. Для средневековой истории упомяну Алена Буро. Сейчас меньше крупных историков, чем 20 лет тому назад, когда творили Ле Гофф, Ле Руа Ладюри.

На меня очень сильно повлияли недавние социальные движения, развернувшиеся в странах, которые нельзя отнести к демократическим. Такие движения происходят даже на других континентах. Интересно, что движения начала XXI века критически оценивают XX век, его иерархии, структуру, управляющих. Я считаю, что эти движения глубоко демократические, пытающиеся пересмотреть и вновь возродить демократию, не разрушая её основные ценности. Ни одно из этих движений не носит революционного характера. Это попытка в известной степени предложить сосуществование представительной и прямой демократии. Это демократия улиц и площадей. Например, в Тунисе события «арабской весны 2011 года» привели к чередованию власти. Это было выступление критического характера, но за истинную демократию. С точки зрения истории, это критика социальной практики XX века как революционного пространства. Но революционные идеи не состоялись, поэтому идёт поиск новых путей демократии. Это как подведение итогов ошибок прошлого революционного века. Я думаю, что это лишь начало процесса, и не знаю, что дальше произойдёт, однако восторженно смотрю на происходящее.

В нашей Школе мы готовим студентов к научным исследованиям в рамках семинаров. И создана она была в 1968 г. именно для этого. У нас свобода выбора тем. И в этом отличие наше от университетов. Я с моими коллегами, среди которых социологи, готовлю коллективную книгу об истории практик, истории практического прагматизма. Например, один из коллег будет писать об истории психиатрии в СССР. Он работал с архивами Министерства здравоохранения в Москве, а также с документами советских госпиталей на местах.

Французская историография отличается тем, что в ней много размышляют. Бернар Лепти, который долгое время оставался директором «Анналов», одним из первых совершил «критический поворот» в истории. Вместе с ним были Ревель, Орто. Это они повернули к истории акторов. У него вышла книга о формах опыта, он рассуждал о привнесении в историю социологии практик<sup>26</sup>. Так началась микрои-

---

<sup>26</sup> Les Formes de l'expérience: Une autre histoire sociale / dir. de Bernard Lepetit. P., 1995. Бернар Лепти погиб в результате автомобильной катастрофы в 1996 г.

стория, которая очень связана с историей практик, историей прагматической. Прагматическая история – это изучение проблемы через язык, проверка того, как реализовывалось то, о чём говорилось.

*Мари-Пьер Рей, интервью записано в университете Париж-1, Сорбонна 17 октября 2014 г.*

Сейчас я – профессор, директриса Центра истории славян, директриса Центра Пьера Ренувена, директриса Исследовательского центра ИРИС, кавалер Ордена Почётного легиона. А начала интересоваться историей с 14-15 лет. Тогда я ещё не знала, хочу ли стать профессиональным историком, но мне были интересны русская литература и история, причём я начала изучать русский язык в 12 лет. Это была эпоха де Голля, когда изучение русского языка было чрезвычайно развито. Училась я в Лионе, русский был моим вторым иностранным языком. Так вот и возник мой интерес к русской культуре и литературе. Затем, после сдачи экзамена бакалавриата, я поступила в подготовительный класс для поступления в высшую школу и тогда я немного поколебалась: стать филологом или специалистом по русской истории. Поступив в 1980 г. в Высшую нормальную школу Парижа, я решалась недолго и выбрала университет Париж-IV для написания диплома по истории на тему: «Подписание франко-советского договора в 1935 г.». Руководителем моим стала Элен Каррер д'Анкос, которая тогда преподавала в Париже-1, Сорбонне. Она там преподавала недолго, а я после защиты диплома осталась там учиться в программе DEA, где Э. Каррер д'Анкос особо потрясла меня чтением курса лекций по внешней политике СССР. С этого момента и я стала специализироваться по внешней политике Советского Союза. Когда через год Элен Каррер д'Анкос ушла в Sciences-po, я предпочла получить всё же университетский диплом и осталась в Париже-1. Почему предпочла университетский диплом? Потому что в 1983 г. я прошла агрегацию, Высшую нормальную школу, начала заниматься исследовательской работой, нацеливалась на написание диссертации, словом – на университетскую карьеру. Работу над диссертацией я начала в 1984 г. Тема была: «Франко-советские отношения во время правительства Ш. де Голля и Ж. Помпиду». Руководителем был Рене Жиро. Значение его для Парижа-1 трудно переоценить. Это его кабинет, его библиотека, место священное для нас. Он работал над темой французских займов в России, но и в более широком плане изучал международные отношения, был наследником творчества и преемником П. Ренувена и Ж-Б. Дюрозеля в Центре русской и советской истории Парижа-1. Теперь это Институт П. Ренувена, которым я руковожу. Центр теперь

расширил горизонты исследований и занимается историей Северной и Южной Америк, Центральной Европы, славян, Азии и т.д. То есть – это Центр истории международных отношений.

Кто из профессоров на моё становление особо повлиял? В первую очередь, Элен Каррер д'Анкос, которая пробудила во мне интерес к внешней политике СССР. Я многим обязана также Р. Жиро, который направлял мою работу над диссертацией, а затем – подготовку к абилитации. К сожалению, он очень рано ушёл из жизни. Место Жиро занял Робер Франк, который продолжил начатое им в Центре. Р. Жиро больше интересовался в научном плане европейским строительством и трансатлантическими отношениями. Я защитила диссертацию в 1989 г., потом работала до 1991 г. доцентом в университете Амьена, там я познакомилась со Стефаном Одуан-Рузо, крупным специалистом по истории Первой мировой войны. Особенно он интересовался историографией и культурой войны, что очень и меня заинтересовало. Поставленные им проблемы я перенесла на тематику холодной войны. Мне очень помогло то, что, когда я работала над диссертацией, начали открываться архивы. Причём началась эпоха устной истории, появились архивы устной истории. Я была одной из первых, кто начал работать с такими архивами. Особенно занимался устной историей Институт нового времени, руководимый Ж. Бедарида, хотя этот институт интересовался лишь Второй Мировой войной. Но я много там работала. Там очень хорошая была библиотека. Моя диссертация была опубликована издательством Сорбонны. После, для прохождения абилитации я начала работать над темой «Советская политика в отношении Западной Европы с 1953 по 1975 гг.», то есть после смерти Сталина и в годы Хрущёва и Брежнева, до подписания Хельсинкских соглашений. Моей абилитационной подготовкой занимался Р. Франк, а когда я решила опубликовать текст абилитационной работы, мне предложили в редакции расширить сюжет, что я и сделала в книге «Русская дилемма». Одновременно с работой над русской дилеммой я начала собирать дипломатические документы по горбачёвской эпохе, получив грант на исследование от Института А. Нобеля. Так я начала работать в архиве Кэ д'Орсе (имеется в виду архив МИДа – Г.К.), с документами Ю. Ведрина. Кроме того, я получила доступ к архиву Помпиду и смогла поработать в Горбачёв-фонде. И уже параллельно этим исследованиям я начала изучать XIX век, так как меня всегда очень интересовали франко-русские отношения начала XIX века. Особо в этой связи меня интересовала фигура Александра I, которому я посвятила несколько книг. Хочу отметить, что история XX века – это история междисциплинарная, опирающаяся на разнообразные источники: по социологии, международным отноше-

ниям, репрезентациям, образам. А мне было интересно все эти исследовательские приёмы применить к веку XIX, посмотреть на него через призму подходов, заимствованных от истории XX века. Конечно, невозможно опираться на устную историю применительно к XIX веку, но этот метод вполне может заменить изучение писем, частных фондов, находящихся в департаментских и семейных архивах. Моя идея была – осовременить, освежить XIX век. Ведь часто это была история дипломатическая, политическая, описательная. А я хотела на эту историю посмотреть через новые источники и нынешним взглядом.

Если оценивать исторические школы, то хочу заметить, что лучше всего я знаю положение во французской истории международных отношений. Эта история, которую после Ренувена, Дюрозеля, Жиро продолжили в этом Центре Р. Франк и сейчас Лоранс Бадель, представляет собой историю глобальную, охватывающую не только дипломатию, но и её участников, или акторов – общественных, частных, экономических, политических. Их всех можно назвать группами влияния, которые составляют глубинные корни международной жизни. Каждый лидер при принятии решений испытывает влияние глубинных факторов. Это также история коллективной памяти, коллективных представлений, над которой много трудился Р. Франк. Иными словами, чтобы изучать историю международных отношений, недостаточно работать лишь в дипломатических архивах. Нужны исследования архивов экономических, финансовых. Важно изучать неправительственные организации, группы давления. Только с таким подходом можно достичь глобального видения истории. В последнее время получила признание культурная история, для развития которой много сделали Паскаль Ори и Жан-Франсуа Сириелли. В Париже-I далеко продвинулась история социальная и социетальная под влиянием Алена Корбена. Это направление в историографии, которое исследует нетипичные для классических исторических исследований проблемы. Например, историю парфюмерии. Сегодня много говорят о транснациональной истории. Согласно ей, историки могут понять глобальные исторические феномены, выходящие за обычные национальные границы. Рамки таких исследований довольно широки. Транснациональная история – это не сравнительная история. Последняя касается конкретной темы, и сравнивается, как, например, российские и французские историки её трактуют. Транснациональная история посвящена изучению объекта, выходящего за национальные границы. Например, «насилие во время войны». Не говорят ведь о русском, итальянском или французском насилии во время войны, это транснациональный сюжет. Транснациональная история сейчас очень популярна в Западной Европе, Франции, США. Я думаю, что национальные историко-

графические школы ещё существуют. Остаются и запретные темы в каждой школе. Во Франции, например, долго такой считалась тема Алжирской войны. Это, правда, не столько потому, что на неё официально наложено табу, сколько потому, что она связана со скорбью, с печальными событиями, болезненная. Сейчас только начали затрагиваться темы, связанные с человеческими жертвами, например, с ядерными испытаниями и облучениями людей при де Голле. Говоря о разных историографических школах, например, можно упомянуть об американском видении завершения холодной войны, что меня и побудило заняться этой проблемой. В США до сих пор ещё недооценивается роль Европы на этом этапе. Европу скорее там представляют актором пассивным, преувеличивая роль Америки в конце холодной войны. Это с ментальной точки зрения связано со стремлением любой страны преувеличить свою роль. России тоже это свойственно. Особенность французской историографии в том, что историки обладают статусом исследователя, позволяющим свободно мыслить и выражать свой взгляд при условии, что они пишут труды, опираясь на достоверные источники. Они свободны в интерпретациях, не зависят от власти, правительство их ни на что не мобилизует. Это возникло после Второй Мировой войны, так как при Виши была попытка инструментализации истории. Хотя существуют правительственные законы об исторической памяти, например, о пагубном значении рабства. Но даже и против такой попытки навязать тематические законы историки возражают. Французские историки имеют широкий доступ к различным архивам, что очень хорошо. Однако кризисные явления во Франции проявляются в том, что сокращается число постов в университетах и молодым специалистам трудно найти место в университетах. Я принадлежу к поколению, которое одним из первых прошло период отмены кандидатской диссертации. А в школах наших, по-моему, слишком много внимания уделяют истории Франции в ущерб истории зарубежных стран. К тому же программа по истории облегчена из-за разного семейного, в том числе и национально-этнического, уровня учащихся. По этому поводу и математики жалуются.

В университетах наших в течение последних 15 лет сложилась тенденция получения исторических знаний для дальнейших конкурсов в области журналистики, общественных организациях, государственной администрации. То есть история стала необходимой для первого общего образовательного уровня, чтобы потом уйти на другое поприще. Такое положение дел с точки зрения профессионализма исторического грустно, но с точки зрения влияния исторического знания на социальную сферу – хорошо.

Что меня в российской историографии удручает, так это то, что публикуются работы исторические слишком маленьким тиражом. Книги, издаваемые, например, в количестве 600-800 экземпляров - это очень мало. Даже по отечественной истории публикации мизерные. В частности, к юбилею 1812 г. у вас в 2012 г. очень много интересных работ вышло тиражом меньше 1 тыс. экземпляров. Это ведь сокращает возможности для российских историков стать известными. Но ведь их рассуждения о российской идентичности, месте России важны, а они и у себя мало известны. К тому же значительная часть статей публикуется только на русском языке. Получается, что российская историография и у себя в стране мало распространена, и за рубежом не переведена. К тому же российская историография несколько описательна, ей не хватает анализа, свободных интерпретаций, перспективного видения. Хотя в изучении истории XIX века подвижки более заметны. Применяются антропологические, культурные подходы. Может быть, в этом сказывается влияние западной историографии, но мне представляется это позитивным.

*Лоранс Бадель, интервью записано в университете Париж-1, Сорбонна 20 октября 2014 г.*

Я закончила Высшую нормальную школу. Но пошла работать в университет потому, что Школа не предлагала тем диссертаций по международным отношениям. Исследования по истории международных отношений велись в университетах, в частности, в Париже-I и Париже-IV. Так я встретила Рене Жиро, благодаря которому я открыла для себя дисциплину «история международных отношений». Я была среди последних его учеников. Он в 1989–1990-е гг. создал международную группу по истории «европейского строительства», в которой работали исследователи из Бельгии, Италии, Германии, Нидерландов, куда приняли и меня. Я выбрала сюжет, предшествующий собственно началу Европы в 1950-е годы, а именно: двадцатые годы. А более конкретно – европейский рынок тех лет. А тема диссертации была посвящена роли экономических кругов в Европе в деле продвижения к созданию европейского рынка. В то время уже были защищены диссертации по промышленникам, а я выбрала деловые торговые слои, изучала роль больших магазинов, патроната. Я познакомилась со многими зарубежными специалистами. Например, меня очень впечатлили профессора из Люксембурга, из Бельгии. Из французских коллег я много работала с Жераром Боссюа, который изучал план Маршалла. Также назову Э. дю Рео и Робера Франка. С Р. Франком я готовилась на агрегасьон, после прохождения которой стала в 1997 г.

доцентом здесь, в Париже-І. Диссертацию защитила в 1996 г. А моя специализация – это финансовая мысль в XX в. Я занималась научными изысканиями в Бельгии. В 2009 г. я была избрана профессором в университет Страсбурга. Это был мой первый пост, на котором я оставалась до 2012 г. После я была избрана профессором в Париж-І. По сути, я первая во Франции начала работать над такой необычной для историков темой. Конечно, я опиралась на дипломатические и личные архивы, но, помимо них, я изучала документы ассоциаций, которые находила либо в архивах ассоциаций патроната, например, в архивах Федерации Больших магазинов, хранящихся на площади Со-гласия. Вообще-то, с 1919 г. существовала группа изучения Больших магазинов, и ее архивы сохранились. Работа с этими архивами позволила увидеть международные связи, понять, что существует международный союз. Есть и архив европейского лобби. Это архив Европейской экономической лиги. В результате я одновременно занималась и национальной, и интернациональной историей. Это позволило изучить международные связи европейского патроната и его роль в создании европейского рынка. А диссертацию я расширила на трансатлантические связи, т.е. связи торгового европейского и американского патроната, на американо-европейский диалог в этой сфере. Затронула я и дебаты по ВТО. Из них видно различие в подходах: европейские патроны больший акцент делали на социальной политике, не очень симпатизировали коммерциализации американского типа. Иными словами, мои исследования касаются новой стороны экономической дипломатии, или роли государства в том, чтобы помочь промышленности и торговле завоевать внешний рынок. Я изучала только торговые связи в XX в., общественные и частные, раскрыла роль государства в том, как оно способствовало выходу на мировой рынок, и сравнивала с Великобританией. Можно сказать, что я занимаюсь акторами и практикой экономической дипломатии XX в., причём в сравнительной перспективе. Сейчас меня интересует современность и, в частности, как развивается межрегиональный европейский диалог с другими континентами. Например, очень много сейчас изучают, и я в том числе, взаимоотношения ЕС и Азии. Я конкретно изучаю взаимоотношения Франции и Сингапура. Источники многие теперь можно получить через Интернет. К тому же частично можно получить архивы Ж. Ширака. Для этого периода доступен и такой источник, как устная история. Я люблю интервьюировать. Во Франции очень развита устная история, с 1980–1990-х гг. создаются устные архивы. Такие архивы существуют и в Комитете экономической и финансовой истории. У нас уже одна из диссертаций была защищена с опорой на интервью с экономическими и финансовыми директорами, которые хра-

няться в этом архиве. Я даю темы такого рода студентам. Войны заканчиваются, и политики и экономисты начинают договариваться.

В последние 30 лет французская историография остаётся очень влиятельной. Был сделан культурный поворот. В международных отношениях – благодаря Р. Франку. В частности, он очень много сделал для утверждения такого направления, как репрезентации. Хотя французская историография испытала на себе и внешнее влияние. Сегодня появилось понятие глобальной истории. Если во времена Р. Жиро внимание историков концентрировалось на истории Европы в международных отношениях, то сегодня история вышла на изучение других регионов мира. Историки много работают в зарубежных архивах и пытаются рассуждать об относительности места Европы в международных отношениях в XX–XXI вв.

Историки стараются децентрализовать свой взгляд на международные отношения, мыслить более глобально. Хотя французской историографии не на пользу то, что доминирует английский язык. Сегодня французские историки стараются публиковаться на английском языке. Историки поколения Жиро – это классическая модель, а работы сегодняшних молодых историков более диверсифицированы, печатаются на английском. Имперской историей занимается Пьер Гроссер, он старается откорректировать западнотрицентричный взгляд. Раньше ведь М. Вайс, Ж. Суту рассматривали историю международных отношений реалистично, через действия крупных акторов. Теперь историки больше внимания уделяют другим факторам в этом процессе, так сказать, низовым. С 1960-х гг. французские историки перестали считать, что история международных отношений интересует только политиков и только от них зависит, поэтому простым гражданам неинтересна. А сегодня, например, защищаются диссертации по телекоммуникациям, в которых показано их влияние на международную политику с 1950–1960-х гг. Это поколение историков-транснационалистов. Я думаю, что в ближайшее время наступит равновесие в изучении международных отношений, особенно в связи с анализом вырвавшихся вперёд в своём развитии стран. И государства будут больше опираться на транснациональные факторы для укрепления своего международного положения. Французским историкам вообще свойственен франкофонный диалог с коллегами, т.е. больше с бельгийцами, итальянцами. Уделяется немало внимания истории Средиземноморья. Хотя и с британскими историками много контактов, но надо отметить, что англо-саксонская историография концентрируется в основном на истории США. Немецкие историки больше, чем французские, публикуются на английском. Они много внимания

уделяют проблеме безопасности. Я как историк считаю, что нужен диалог с другими дисциплинами, в частности, с социологами международных отношений. Важны контакты с политологами, которые занимаются эволюцией международной жизни, начиная с 1990-х гг., но когда они касаются истории, пишут довольно схематично. Поэтому для них, например, интересны исторические выкладки о том, что группы влияния действуют и в настоящее время.

*Яник Дез, интервью записано в редакции издательства «Новый мир» 21 мая 2010 г.*

Диссертацию на тему: «Политическая мифология во французском кино» я защитил в Sciences-po под руководством Пьера Мильзы. В 2000 г. она была опубликована, а сейчас я уже сам редактор издательства «Новый мир». Мое профессиональное формирование пришлось на 1980–1990-е гг., которые по праву можно назвать «сильной эпохой». Тогда Высшим циклом социальной истории XX в. руководил С. Берстайн; после министерского поста туда вернулся Ж.-Н. Жанне-нэ, на долю которого, когда он был в правительстве Ф. Миттерана министром культуры и связи, выпала честь подготовить празднование 200-летия Французской революции 1789 г. Преподавал в Цикле находившийся как бы между историей и журналистикой Ален-Жерар Слама, известный также как автор передовиц в «Фигаро». Он вел очень интересный семинар на тему: «Политическая история и литература». Еще я посещал семинар под названием: «История, искусство и общество». Незабываемые впечатления остались от семинаров М. Винока и Р. Ремона. Мне посчастливилось застать последний год семинаров Р. Ремона по правам и нации, а также поучиться у первого директора Цикла Рауля Жирарде. Это у него я, по сути, позаимствовал идейный замысел, приступая к работе над моей диссертацией, потому что именно он занимался тогда изучением политической мифологии.

Теперь историки много говорят о влиянии политических мифов на политическую культуру рядовых граждан. Большое внимание, в частности, уделяется такому мифу, как сплочение, единение простых людей. Так я предстал структуралистом, изучавшим с помощью мифов и мифологии французское общество. В принципе, я не возражаю против того, что это мелкие элементы, своего рода полу-темы, но, тем не менее, они служат важными компонентами политической культуры общества. Когда мы обращаемся к кино, мы же изучаем не столько режиссеров, артистов и персонажи, сколько важные жизненные темы и проблемы. К примеру, на некоторые фильмы французы шли, чтобы увидеть «Вечный Монмартр» или национальные традиции и т.п. Или

помню, как в 1983 г. нашумела комедия Ж.-М. Пуаре «Мой папа был в Сопротивлении», жесткая и развеившая миф о том, что все французы были сопротивленцами. Фильм продемонстрировал их в большинстве своем коллаборационистами. Исследовательские сюжеты, подобные тому, который я выбрал для своей диссертации, представляют собой один из подходов к изучению политической культуры простых людей, а именно – через изучение мелких объектов, последующее затем облачение их в научную форму и, наконец, придание им научной трактовки. Этот подход подтолкнул развитие культурной истории, составляющей одну из ярких страниц французской историографии. Например, всего несколько месяцев назад была блестяще защищена диссертация Клэр Секэ на тему «Преступления в кино».

Прорыв культурной истории во Франции обеспечили несколько ключевых фигур из мира ученых: в Sciences-po – это Ж.-Н. Жанненэ, в Высшей школе социальных наук – Марк Ферро, сейчас в Париже-1, а тогда в университете Версаля – П. Ори. Они специализировались по истории XX века, но можно вспомнить и несколько имен из тех, кто посвятил себя истории XIX века. Продвинуть ее на историческом пространстве они смогли благодаря своему научному авторитету, завоеванному в работе по «серьезным сюжетам»: М. Ферро – по истории СССР, Ж.-Н. Жанненэ – по истории левых, П. Ори – по культурной политике Народного фронта. Надо причислить к этой когорте еще и Ж.-Ф. Сириелли, который пришел к культурной истории от истории интеллектуальной, и Роже Шартье, писавшего об историографии интеллектуальной истории.

Вообще все эти «отцы-основатели» защитили диссертации по классической истории и только потом занялись культурной историей. А сейчас сюжеты по культурной истории утвердились, их активно разрабатывают 30–40–50-тилетние исследователи. В университете Версаля на этом поприще эстафету от П. Ори принял К. Дельпорт. Под руководством П. Ори он защитил диссертацию на тему «Деньги и литература в XX веке» и возглавил Центр культурной истории после ухода своего шефа. В Институте нового времени это направление развивает Ж. Нива. Там проводятся семинары по истории телевидения, кино и т.д. Если для поколения М. Ферро сюжеты из культурной истории считались хобби, то молодые исследователи берутся за самые смелые сюжеты, такие, как история джаза, комиксов и др. Это исследователи без комплексов. Иными словами, культурная история легитимизировалась. Теперь в университетах создаются пост-ты специально для тех, кто занимается культурной историей, хотя и не без дискуссий по поводу назначений. Наше издательство много публику-

ет историков этого направления. Так, мы опубликовали книги Лорана Мартана, защитившего диссертацию на тему о «Канар аншене»<sup>27</sup>, Лидвин Бантини, защитившей диссертацию о французской молодежи в годы алжирской войны, пытаюсь найти ответ на вопрос о том, сложилась ли общая культура у призывников на эту войну. Вышли в нашем издательстве работы, посвященные культуре простой молодежи в 1960-е гг. Появляются совершенно новые исследовательские сюжеты. Например, по истории разведок. Раньше подобные сюжеты были доступны лишь военным историкам и были засекречены, а теперь диссертации о разведывательной деятельности свободно защищаются в гражданских вузах. То же можно сказать и об истории спорта. В Sciences-po, например, ведется семинар по истории спорта. Естественно, такие темы тоже нуждаются в источниках для интерпретации, цитирования, получения точных данных. Понятно, что тут нужны и новые технологии хранения источников. Но теперь есть технологии, каких не было 20 лет назад. Когда я начинал писать свою диссертацию, большим подспорьем служила кинокритика тех лет. Случались и интересные метаморфозы. Кристиан Ле Бек, например, от изучения до-революционных и революционных карикатур превратился в историка кино. То есть, в наши дни оказалась возможной инверсия в исследовательских подходах.

На мой взгляд, национальные историографические школы не исчезли, несмотря даже на то, что сейчас в мировом масштабе французская историография занимает весьма скромное место. Самый ее плодотворный период приходится на 1980–1990-е гг., но тогда она была замкнута на себе еще сильнее. Сегодня французская историография «открывается». Например, в университете Париж-III Новая Сорбонна на преподавание истории кино избрали немца. На разных конференциях, особенно в США, совершенно неожиданно встречаются соотечественники. Иными словами, современные историки хотят путешествовать, тогда как прежде, на протяжении пятидесяти последних лет, французская историография была, в известной мере, непроницаемой. Сегодня вообще в США трудится больше французских профессоров, чем в самой Франции. По крайней мере, в математике – это факт. Вместе с тем, работы французских исследователей мало еще переводят в США. Для более полного «открытия» французам не хватает денег, но я надеюсь, что это изменится.

Что касается проблем сегодняшней французской историографии, то, на мой взгляд, их две. Проблема первая, с моей точки зрения как

---

<sup>27</sup> «Le Canard enchaîné» – известная французская политическая сатирическая газета с почти столетней историей.

издателя, связана с умением писать. Дело в том, что молодых историков не научили писать исторические тексты. Это относится, например, к сюжетам по Средневековью, которые пестрят массой современных слов. Нужно учить студентов разным типам исторического языка. Сегодняшние тексты диссертаций по истории Средних веков сильно разнятся с теми, что писали в эпоху Ж. Дюби, сплошь состоят из жаргонной речи, отчего страдает качество. К тому же из-за широкого распространения сети Интернет издатели теперь должны строго проверять написанное. Существуют специальные курсы по обучению пользования электронными ресурсами. На мой взгляд, не нужно и такое требование к диссертациям, как обширное цитирование. Зачем это? Для того лишь чтобы показать, что читал книги. В итоге тексты диссертаций огромные, и издатели не хотят их публиковать, ибо будут вынуждать соответственно больше платить читателей. Вторая проблема, типичная для французской историографии связана с ее чрезмерной специализацией, которой не было 20 лет назад. Поэтому сегодня затруднительно появление крупных историков, которых почитали бы все, как это было в мои годы. Нет общей исторической культуры. Сегодня среди поколения сорокалетних историков есть хорошие специалисты, но все же они не мэтры. Если в 1980–1990-е годы можно было прочесть все исторические новинки, то теперь это физически невозможно. Р. Ремон в конце 1980-х гг. сказал мне, что перестал читать, ибо это не реально. Над этой проблемой надо подумать. Конечно, есть исключения. Упомяну двух молодых исследователей. Один – медиевист и «нормальенец» Патрик Бушерон. Он сумел выйти за узкие рамки своей специализации. В прошлом году под его редакцией в издательстве «Файяр» вышел коллективный труд о средиземноморском мире в XV в., а два года назад в литературном издательстве он опубликовал исторический роман о Н. Макиавелли. Другой заметной фигурой среди молодых историков является Антуан Литии, возглавляющий редакцию «Анналов». Однако большинство 35-50-тилетних историков все же слишком зациклено на своей области исследования.

*Сабина Жансен, вопросы интервью заданы в Институте политических наук (IEP) в Париже, а ответы получены по электронной почте 17 декабря 2011 г.*

Я не собиралась становиться историком. Я обожала литературу, много читала, писала стихи и, не имея сразу четкого представления о том, чем бы хотела заняться в будущем, думала, что так или иначе моя профессия будет связана с литературой. Однако я очень рано познакомилась с историей. Мой отец, по профессии врач, обожал средневековую литературу и вообще историю Средних веков. И уже когда са-

ма я стала заниматься историей, я узнала, что он после окончания учебы на медика записался в Сорбонну, на лицензиат по истории. Он сам мне никогда об этом не говорил, но за него говорила его библиотека. В ней были и повествования о Трое, и такие книги, как «Тристан и Изольда», «Песнь о Роланде». Кроме того, там были труды известных ученых по истории Средних веков, таких как Марк Блок и Робер Бутрюш. Я помню, что еще в колледже прочла книгу Регины Перну «Об окончании Средних веков». Таким образом, можно сказать, что мой интерес к истории развивался параллельно с интересом к литературе. Например, меня очень впечатлили повествования о чуме в Марселе в 1720 г. в книге Марселя Паньоля «Время любви» и о японской оккупации Китая в межвоенный период в романе «Сын дракона» Перла Бака. Решающими и определяющими для меня стали два последних класса лицея, где я специализировалась по философии, и где очень много внимания уделялось истории. И мне посчастливилось иметь двух блестящих преподавателей по истории и географии. Во время подготовки к бакалавриату я читала много романов, свидетельств и аналитических трудов по программе подготовки, которая касалась первой половины XX века. Меня, семнадцатилетнюю, очень впечатлили книги Де Голля «На острие шпаги», «За профессиональную армию» и «Раздоры в стане врага».

Сдав экзамены на бакалавра, я поступила в подготовительный класс лицея Генриха IV, намереваясь подготовиться к конкурсу в Высшую Нормальную школу на специальность «современная литература». Но так как у меня были самые высокие оценки по истории, я одновременно записалась на конкурс по истории в университет Париж-IV. В Эколь нормаль я не прошла, поэтому начала учиться на лицензиате по истории в Париже-IV. Тут для меня и открылась история. Особенно мне нравилась древняя история. А так как уже в первый год я получила самые высокие оценки, то поняла, что история - это мое призвание.

В то же время, я не была уверена в своем призвании на преподавательском поприще, поэтому решила на всякий случай или, как говорят, быть или не быть, попытаться счастья в Sciences-po, куда и записалась параллельно на втором году обучения в Париже-IV. Там я выбрала специализацию «Политика, экономика, социальная жизнь» на отделении «Информация и коммуникация», что мне позволило, изучая историю, освоить многие другие смежные дисциплины. Одновременно я записалась в Париж-IV для написания диплома о Пьере Коте под руководством Ж.-М. Майера. Мой выбор новейшей истории логически был обусловлен тем, что надо было как-то сочетать научные интересы, будучи еще и студенткой Sciences-po, где изучали

только XX век. Однако, если быть искренней, новейшая история не была для меня предпочтительной. Меня больше привлекали древняя история и Средние века. Получение диплома Sciences-po тут же открывало передо мной множество возможностей для работы в промышленности или в прессе, но я решила все же сначала закончить дипломную работу о Пьере Коте. Труд исследователя очень меня привлекал, поэтому я записалась на DEA в Sciences-po. А по окончании DEA мне предложили написать диссертацию, что я с радостью приняла. Как только я начала работать над диссертацией, Ж.-М. Майер и соруководитель в Sciences-po С. Берстайн сразу же меня предупредили, что университетскую карьеру очень трудно сделать без агрегации. Поэтому, работая над диссертацией, я сдала и агрегационные экзамены. Работа над агрегационным конкурсом требовала изучения не только новейшей истории, доминировавшей в Sciences-po. Год работы над агрегационным конкурсом был важен для меня по многим причинам. Три года я получала пособие как помощник учителя, потом стала почасовым преподавателем в университетах Париж-ХII Кретьей и Нантер, что позволяло иметь не-сколько часов работы в неделю, а оставшееся время заниматься диссертацией. Затем я стала преподавателем-агреже в CNAME<sup>28</sup>, наконец, после защиты докторской в Sciences-po я избрана здесь доцентом.

На мое формирование как историка повлияло много профессоров: Жан-Мари Майер и профессор Средневековой истории Доминик Бартелеми в Париж-IV, Серж Берстайн, Жан-Пьер Азема – в Sciences-po. Они научили меня строгости и четкости в исследовательской работе. Пьер Шоню, профессор Новой истории, лекции которого я слушала во время лицензиата в Сорбонне, научил меня относиться к истории, как к рассказу, и включать воображение. Его курсы о религиозном сознании в XVI в., несмотря даже на то, что он прибегал к некоей преподавательской фантазии, свидетельствовали о том, что он крупный историк, способный к большим обобщениям и синтезу, к раскрытию глубоко запятанных тайн ментальности. Кроме того, он открыл мне труды Люсьена Февра. Я восхищалась также другим историком, которого не знала, будучи студенткой, – Полем Вейном, профессором кафедры по истории Рима в Коллеж де Франс. В нем меня поражала широта взглядов и критическое мышление. В Sciences-po, помимо Сержа Берстайна, блестяще читавшего общий курс по методологии истории в сравнительной перспективе с социологией и политологией,

---

<sup>28</sup> CNAME – Conservatoire nationale des arts et métiers (Национальная консерватория ремёсел и искусств). Это высшее профессиональное учебное заведение, где изучают научную и техническую культуру.

я очень ценила как педагога Жана-Пьера Азема. Сначала я посещала его спецкурс как студентка, затем – как слушательница DEA, где он вместе с Мишелем Виноком в Высшем цикле социальной истории XX века вел спецсеминар «История и литература», и я с огромным удовольствием изучала творчество писателя Жана Жионо, снова как бы вернувшись к моему литературному призванию. В Sciences-po меня восхищал остротой анализа и качеством риторики Жан-Ноэль Жанне-нэ. Он дал мне, молодому специалисту 1990-х гг., советы, которым я следую до сих пор. Позднее у меня установились очень важные и плодотворные связи с Жоржем-Анри Суту (бывший профессор университета Париж-IV, ныне член французской Академии наук – Г.К.) и Жаном-Франсуа Сиринолли, которые были членами жюри на защите моей диссертации. Широта их взглядов и эрудиция, я думаю, должны служить примером. Наконец, хочу упомянуть Рене Ремона. Я не была в строгом смысле слова его ученицей и знала его лишь немного, когда он возглавлял Национальный фонд политических наук. Он сочетал настоящий литературный талант с глубоким мастерством исторического синтеза и анализа. Я почитала его с самого начала моей подготовки к высшей школе и потом в Sciences-po.

Так как мое становление как историка происходило в самых разных местах, то я сохранила вкус к разнообразию. Не имея пристрастия к догматизму, я считаю, что в историографии могут существовать самые разные точки зрения при условии, что в них строго учитываются научные критерии. Очень долгое время жанр биографий, к которому я сильно тяготею, не почитался. Сегодня этот сюжет уже никто не ставит под сомнение, что чрезвычайно обогащает историографию. Кроме того, история выиграла на пространственно-временном отрезке, так как в 1990-е годы новейшая история легитимизировалась, что долгое время оспаривалось. Это стало возможным после опубликования в 2008 г. закона о сокращении срока давности архивов. Вместе с тем, параллельно идёт процесс фрагментации истории. Франсуа Досс справедливо говорит о том, что «история в осколках».

Я думаю, что если сегодня трудно выделить крупные историографические тенденции, то это оттого, что французская школа находится в некоторой стагнации, выдохлась. Безусловно, это несколько не ставит под сомнение её прежние успехи и достижения, и не будет преувеличением сказать, что Франция в мировой истории доминировала в 1930–1970-е гг. Но надо признать, что сегодня французская историография – тень самой себя. Мы являемся, прежде всего, свидетелями доминирования англо-саксонской историографии, более динамичной и продуктивной, пользующейся к тому же привилегией

господства её языка. Сегодня существуют еще национальные историографические школы, что зависит от различий в подготовке и от того, на кого ссылаются историки в своих исследованиях, но мы наблюдаем очень активную мутацию. Вместе с унификацией системы образования, начатой в Лиссабоне, и с интернационализацией рынка образования, различия начинают стираться. Думаю, что французским историкам, почивающим на лаврах прошлых успехов, не хватает смелости и открытости. Они замкнуты в своих рамках и не подвигают своих воспитанников на поиск новых научных идей. Сейчас, когда подумаешь, что в 1980-е гг. можно было закончить полный курс обучения по специальности «история» в Сорбонне, не посещая ни одного курса по иностранному языку, изумляешься. Отметим, что долгое время бедность университетов составляла их слабость. В том смысле, что они не могли развивать связи, продвигать свою научную продукцию. Сегодня очень трудно найти средства для перевода статей и книг. Если мы хотим продвигать наши труды, которые отнюдь не уступают по значимости англо-саксонским, надо избавиться от самобичевания и галльской замкнутости.

Система преподавания во Франции пребывает в кризисе, что касается и истории. Историческая дисциплина не выглядит, как значимая и приносящая плоды в дальнейшей жизни специальность. Поэтому нынешние студенты отдадут предпочтение праву, политическим наукам, экономике. Сегодня, в условиях глобализации мы переживаем период глубокой трансформации, в результате которой исчезают старые рамки, но и новая система еще не ясна. На мой взгляд, интернационализация – это прекрасная вещь, но я не уверена в том, что лихорадочная соревновательная гонка, в которую втянуты университеты, создает благоприятные условия для продвижения исторического знания. Еще меньше восторга у меня вызывает то, что мы вступили в полосу жесткого подсчета в исследовательской деятельности. Сейчас пытаются внедрить одинаковую политику подсчета результатов для совершенно разных дисциплин. Предполагается, что исследования по физике или биологии требуют значительного финансирования, а история – нет. Научная прибавочная стоимость книги отнюдь не пропорциональна её цене. Наши предшественники писали крупные труды по истории, не будучи связанными кредитами от Национального агентства исследований, созданного 7 февраля 2005 г. (ANR) или от Европейского исследовательского центра (ECR). Можно лишь порадоваться возможности получения кредитов после стольких лет пустоты, но обидно, что проблема кредитования превалирует над значимостью научного исследования.

***Пьер Гроссер, интервью записано в Институте политических наук (IEP) в Париже 3 ноября 2014 г.***

У меня нетрадиционный профессиональный путь историка. После окончания Sciences-po и защиты диссертации я 10 лет готовил дипломатов, преподавал международные отношения. При Министерстве иностранных дел есть такие двухнедельные курсы для подготовки карьерных дипломатов, на которых обучаются иногда и иностранные слушатели. Жена моя – дипломат, так что я знаком с дипломатией изнутри. Историю изучал в Париже-I, затем прошёл агрегацию. Мне нравилось преподавание, поэтому 10 лет я преподавал в средней школе, с 1986 по 1996 г. Затем, в 1989 г., я начал преподавать и в Sciences-po, вёл несколько новый курс: «Эволюция международных отношений в современном мире». Этот курс читается там лет 25, но введён был именно в 1989 г. тогдашним директором Института Аленом Лансело. Цель его была – дать каждому студенту знания о мировых событиях. Сегодня на базе этого курса в Институте создано специальное отделение под названием «Мировое пространство». В 2002 г. я защитил в Sciences-po диссертацию по холодной войне под руководством П. Мильзы, а с 1995 г. начал работать там же прикреплённым профессором, то есть часть времени работаю здесь (в нашем понимании – это совместитель – Г.К.). Тема диссертации была по франко-индокитайским отношениям с 1953 по 1956 гг.

Впоследствии я перенёс научный интерес на изучение отношения Ф. Миттерана к СССР в начале 1980-х гг., и с моим коллегой Паскалем Коши мы продолжили этот сюжет до 1988 г. Я всегда интересуюсь холодной войной. Одна из моих последних книг написана на тему о том, как создают образ дьявола в международных отношениях (книга вышла в 2013 г. – Г.К.), в частности, как в современной международной жизни используют «образ Мюнхена». Я написал эту книгу в надежде на то, что мы сможем извлечь уроки из периода после окончания холодной войны. Это и теория, и история. Надо преодолевать наш чисто европейский взгляд на международные отношения. О возвращении холодной войны не приходится говорить потому, что нет соревнования двух систем. Несмотря на то, что некоторые элементы можно увидеть в политических теориях, как, например, суверенной демократии Путина, попытке привязать к себе некоторые страны под этой эгидой, но всё же это не системные противоречия. Сейчас больше диалогов, больше взаимодействия на разных уровнях, чем во время холодной войны. Иначе стоит и китайская проблема.

Мне не очень нравятся как тип семинары, кроме таких, как были у Берстайна и Мильзы. В университете, когда я учился, на меня силь-

но повлиял Даниэль Рош. Также упомяну Бернара Лепти, обновившего историю «Анналов». Во французской историографии произошло по-настоящему обновление поколения. Сейчас все ученики Дюрозеля, занимавшие крупные посты, ушли на пенсию. Например, Р. Франк в Париже-I, Э. дю Рео в Париже-III. Вспомним в этом ряду П. Мильзу, М. Вайса, Ж. Суту. Это настоящий переворот в плане смены поколений. Сейчас нет заметных фигур. Вопрос смены поколений очень важен. Раньше были крупные профессора, а сегодняшние преподаватели: Ф. Бозо, В. Форкад – такими не являются. Может быть, станут со временем. Хотя историография международных отношений остаётся разнообразной в плане исследовательских подходов. М. Вайс и Ж. Суту занимаются традиционной дипломатической историей международных отношений; Р. Франк более открыт политическим и социальным наукам в международных отношениях; Л. Бадель больше интересуется культурой дипломатии; В. Форкад начал изучать историю разведок. Хотя эту последнюю тему мы не можем разрабатывать так, как американцы и англичане. Мы можем изучать период только до Второй Мировой войны, тогда как они – практически до современности. С архивами письменными у нас проблема, так как, когда я в Министерстве иностранных дел разговаривал с людьми из ДСТ и ДСС<sup>29</sup>, то они говорили, что часто архивы носят личный характер, то есть недоступны. Но сейчас есть такой источник, как устная история, и многие любят рассказывать. Трудно научную работу по сюжету разведки выполнить. Можно уже с этой точки зрения изучать колониальные войны, потому что есть колониальные архивы. Ещё одна тенденция нашей историографии – конец марксистской. «Поколение левое» исчезло. Настоящий интерес вызывает теперь история глобальная, или транснациональная. Я отношение к этой истории имею уже с момента работы над диссертацией, потом написал несколько статей Р. Франку в этом ключе. Но французским историкам присуща такая негативная черта: часто претендуют на то, что знают о том, что такое транснациональная или глобальная история специалисты, пришедшие из других областей знания: социальной, политической истории. Получив деньги для исследований, они считают, что всё могут. В США всё же историю транснациональную начали именно международники с классическим образованием, и лишь потом исследовательское поле расширилось на других специалистов. У нас наоборот: некоторые люди, ничего не знающие в истории международных отношений, утверждают, что классическое образование по международным отношениям – это

<sup>29</sup> Подразделения внутренней и внешней разведок

ничто. Вот и получилось, что из истории Второй Мировой войны исчезли некоторые военные вопросы. Начали заниматься насилием, тогда как политико-стратегическая и тактическая стороны изучаются гораздо меньше. На мой взгляд, не все точки поставлены в изучении причин войн. Например, во Франции никто не работает над изучением причин Первой мировой войны. В частности, никто не написал чего-либо существенного по внешней политике Франции накануне войны. Очень немногие трудятся над внешней политикой де Голля в годы холодной войны. Обобщающих трудов по внешней политике Франции недостаточно. Существуют также «трудные сюжеты» для французской историографии. Например, связанные с ядерной политикой, отношениями с ближневосточными странами. Нелегко получить доступ к президентскому архиву, как в Национальном архиве, так и в Институте Франсуа Миттерана. Военная история – тоже «трудный сюжет» во Франции. Проблема сегодняшнего поколения историков – публикации в известных журналах. Если напечатался в малоизвестных изданиях, то как бы ушёл из медиа-пространства. Сейчас в моде сюжеты, связанные с памятливыми датами. По изучению Средневековья, Новой истории у нас много крупных специалистов, тогда как по Новейшей – меньше. Кроме того, мало специалистов по истории других стран, таких как Россия, Англия, США, Китай. Новейшая история у нас сейчас датируется XIX–XX веками. Раньше она вообще отсчитывалась после Революции 1789 г., но сейчас уже мы в XXI веке, поэтому рамки сдвинулись.

Деньги на исследования дают, но звёзд пока нет. Не хватает таких, как Ж. Ле Гофф, М. Ферро, которые говорили и писали на разные темы. Национальные историографии существуют. Специфика французской сегодня – «культурная история», в том числе и применительно к изучению политики. Остаётся значительным вес EHESS, идей П. Бурдьё. От них исходит понятная только во Франции манера «творить историю», т.е. писать работы с претенциозным социологическим контекстом. Это история цивилизаций, количественная, часто критическая по отношению к власти. «Культурный поворот» затронул также историю права и историю институтов. Новое направление, которое начато молодыми специалистами – история имперская и колониальная. Немецкая историография очень национальная, а французская претендует на сохранение специфики и, в то же время, на открытость миру, как американская. В политических науках французские исследователи предпочитают синтез, обобщения, что можно считать позитивным. Хотя большого исторического синтеза не наблюдается. Я это называю «балканизация истории», то есть когда каждый занят своим

узким исследовательским проектом. Профессора больше не преподают, конкурсы – как театр. Когда преподаватель имеет в год три курса (семестры длятся 12 недель), включая семинары – это несерьёзно. Нет вкуса преподавания, синтеза, стремления создавать новые курсы. В профессиональном плане наблюдается нехватка культуры обобщения. И всё время надо искать деньги на исследования, они требуются обязательно. Не думаю, что Суту или Мильза так занимались поиском денег для своих работ. Я сомневаюсь, что сейчас мы в лучшей ситуации, чем раньше. Чтение книг коллег важнее, чем многочисленные коллоквиумы, требующие огромных финансовых затрат. Прежде чем говорить с коллегами, надо читать их книги. У нас сложился переизбыток историков, социологов, политологов. Всем им ведь надо найти работу. Раньше все студенты в Sciences-po слушали курсы Дюрозеля и имели широкое видение мира, тогда как сегодня меня поражает в них отсутствие кругозора. Я преподаю здесь журналистику, у магистрантов в семинаре – стратегическую историю, то есть то, как на международные отношения влияют разные стратегии. Есть у меня курс о современном мире. Хотя нельзя только международной историей заниматься, надо и о Франции не забывать. Люди ждуг, чтобы им о собственной истории рассказывали. В этом плане много трудятся журналисты. Сегодня, чтобы преподавать в школах, надо иметь мужество. Раньше можно было вместо военной службы преподавать, и платило государство. Нужен обмен между историками. Например, как с русскими говорить, если не читал их работ, не знаешь их точки зрения. У нас мало известна русская литература именно по внешней политике. Даже если не доступны ваши архивы, можно писать на основе чешских, польских и т.д.

*Шанталь Морель, интервью записано в лицее Мольера в Париже 20 октября 2014 г.*

Я профессор истории в подготовительных классах для Больших школ<sup>30</sup>. Я закончила университет Париж-IV по специальности «история». Мой путь – классический для преподавателя истории. Сначала я прошла конкурс CAPES<sup>31</sup> для преподавания истории в 3 классе колледжа, затем сдала агрегационные экзамены, защитила диссертацию по политической биографии Л. Жокса в Sciences-po под руководством Мориса Вайса. Во время работы над диссертацией я работала в Фонде

<sup>30</sup> Так называют во Франции школы, для поступления в которые сдают экзамены. В их числе в гуманитарной сфере – Эколь нормаль, Sciences-po.

<sup>31</sup> CAPES – специальный государственный конкурс на право преподавания в старших классах колледжей, лицеях.

Шарля де Голля как исследователь, занималась организацией конференций. Потом я получила пост профессора в подготовительных классах – «ипокань» и «кань», рассчитанных на два года для поступления по конкурсу в Большие школы, в частности, в Высшую нормальную школу на улице Ульм в Париже, в такую же – в Лионе, в меньшей степени в Sciences-po, а также – в Коммерческую школу, в Высшую школу журналистики в Сорбонне, при университете Париж-IV.

В таких классах преподаётся общая история для прохождения конкурса. Кроме того, изучают философию, географию, иностранные языки, причём один из мёртвых, а также театр и кино. Словом, ведётся весьма разносторонняя подготовка. Это молодые люди в возрасте 18-21 лет, которые не обязательно хотят специализироваться по истории. На первом году обучения даётся разностороннее образование, а на втором, если хотят поступать на историю, слушают специальные курсы по истории. Для «ипокань» я программу сама выбираю из истории Античности, Средневековья, Новейшей. Надо, чтобы студенты получили представление о каких-то трёх исторических периодах. Для «кань» программа даётся Министерством образования. Предлагаются темы для прохождения конкурса, которые меняются каждый год. На 2014 г. выбрано два вопроса: письменный – «Политика и культура Франции в годы Третьей республики. 1870–1940 гг.» и устный – «Отношения Запад–Восток с 1917 по 1991 г.». Год учебный длится шесть месяцев, по сути, не так уж много. На каждый из вопросов у меня по два часа в неделю. Плюс – самостоятельная работа студентов. Предполагается, что студенты должны познакомиться с историографией проблем. Учебников специальных нет, тут свобода выбора для преподавателя. После бакалавриата подчас приходят студенты с очень поверхностными знаниями. В этом году я на первом курсе преподаю историю классической Греции. В лицеях эту историю изучают бегло, в 12 лет, а тут мы знакомимся с текстами, читаем источники, так как многие учат древнегреческий язык. Изучаем греческий театр, литературу комедии, т.е., с методологической точки зрения, рассматриваем театр как источник по истории. Это в первом семестре. Во втором остановимся на истории Ренессанса во Франции. Опять через литературу этого времени. Кроме того, вторая часть моих уроков посвящена истории Франции XIX века, конкретно – с 1870 г. до Первой мировой войны. Будем изучать парламентские дебаты, элиты, республиканские идеи, взаимоотношения государства и церкви. При этом постоянно большое внимание уделяется документам. Мы учимся интерпретировать опубликованные документы. Студенты должны знать разные точки зрения. Иными словами, в этих классах мы учим учиться. Осо-

бое внимание уделяем научению устным выступлениям, что для конкурса необходимо. Студенты сами два-три раза в год готовят сюжеты, по которым выступают. За 20 минут они должны суметь раскрыть свою тему. Работают над выступлением месяц. Слушаю я одна, не весь класс. Это имитация конкурса. Кроме того, студенты пишут диссертацию. Это очень важная часть обучения. Причём это письменный (в течение шести часов) вариант работы. Одна из предложенных тем звучала, как «Революция 1848 г. и демократия». У студентов вызывало трудности соединение этих двух процессов, понимание того, как французы эти явления восприняли. Когда утвердилась демократия после революции 1848 года? Была ли это демократия? – всё это оказалось трудным в плане постановки проблемы.

Мне приходится проверять много письменных текстов (в классе тридцать учащихся), потом перед классом я разбираю работы. Для работы на втором году обучения я даю библиографию, но и сами студенты подыскивают литературу. Я правлю, даю советы. Второкурсникам я дала для самостоятельной работы по истории Третьей республики тему «Школа». Репетиция конкурса называется – «белый конкурс», таких проводится несколько за год: первый начнётся в январе, а основной конкурс будет в апреле. После двухчасовой работы, следует устный конкурс. Час они готовятся по двум темам, потом 20 мин. выступление и 10 мин. на вопросы. В принципе, на обучение по программе «мастер-1» и «мастер-2» можно записаться в Высшую нормальную школу по досье после окончания университетов, но такие выпускники не будут считаться «нормальщиками». Последние – лишь те, кто прошёл после подготовительных классов конкурс. Они получают во время учебы стипендию, но зато потом 10 лет должны отработать на государство. Это студенты-чиновники, они идут на государственную службу. Таков классический путь «нормальщиков». «Эколь» престижна, поступление туда всегда по конкурсу, и подготовительные классы дают возможность для выходцев из семей среднего достатка поступить в неё. Поступление в подготовительные классы осуществляется по досье, т.е. в лицеях надо очень хорошо учиться. Тот же путь проходят студенты Высшей политехнической школы, только с другим набором специальностей.

Может быть, такая система – французская аномалия, как и агрегация, но не плохая. Я работаю в лицее Мольера, другие подготовительные классы существуют как в Париже, так и во всех крупных городах. По одному – точно, а в Лионе таких классов три. За запись в подготовительные классы платят, как за запись в университет.

## CONTENTS

Reflecting on the multifaceted human experience ( <i>Lorina Repina</i> )..	5
--	---

### PART I

Interview with Reinhart Koselleck ( <i>A.B. Sokolov</i> ).....	9
Interview with Hans-Ulrich Wehler about Bielefeld school and its leaders ( <i>A.A. Turygin</i> ).....	22
«Будущее немислимо без прошлого»: interview with Professor J. Rohlfes ( <i>A.B. Sokolov</i> ).....	34
Interview with Hayden White ( <i>A.B. Sokolov</i> ).....	46
Interview with Rolf Torstendahl ( <i>Tamara Torstendahl-Salycheva</i> ).....	56
«Reasoning history intelligently: interview with Jörn Rüsen ( <i>A.A. Linchenko</i> ).....	72
Fragments of Giovanni Levi's 'intangible inheritance' ( <i>Norberto Zuniga Mendoza</i> ).....	93
Interview with Professor W. Wrzosek ( <i>Karolina Polasik-Wrzosek</i> ).....	100

### PART II

French historians about their professional formation and paths in science ( <i>Galina Kaninskaya</i> ).....	127
CONTENTS.....	206

# СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: Размышляя о многогранности человеческого опыта.....	5
--	---

## ЧАСТЬ I

Интервью с Райнхартом Козеллеком ( <i>А.Б. Соколов</i> ).....	9
Интервью с Гансом-Ульрихом Велером о Билефельдской школе и ее представителях ( <i>А.А. Турыгин</i> )....	22
«Будущее немислимо без прошлого»: интервью с профессором Й. Рольфесом ( <i>А.Б. Соколов</i> ).....	34
Интервью с Хейденом Уайтом ( <i>А.Б. Соколов</i> ).....	46
Интервью с Рольфом Тоштендалем ( <i>Тамара Тоштендаль-Салычева</i> ).....	56
«Мыслить историю разумно»: интервью с Йорном Рюзенем ( <i>А.А. Линченко</i> ).....	72
Фрагменты нематериального наследства Джованни Леви ( <i>Норберто Зунига Мендоса</i> ).....	93
Интервью с профессором В. Вжосеком ( <i>Каролина Полащик-Вжосек</i> ).....	100

## ЧАСТЬ II

Французские историки о своем профессиональном становлении и пути в науке ( <i>Г.Н. Канинская</i> ).....	127
CONTENTS.....	206

«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ...»  
ИСТОРИКИ О СЕБЕ И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ  
В ЭТОМ БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Составление и общая редакция  
Лорины Петровны Репиной •

Дизайн обложки *И.Н. Граве*  
Корректор *М.М. Горелов*

Подписано к печати 20. 11. 2020  
Формат 60 x 90/16

---

Гарнитура Times. Печать цифровая  
Усл. печ. л. 15. Тираж 600 экз.

Издательство «Аквилон» (Москва)  
Электронная почта: [aquilopress@gmail.com](mailto:aquilopress@gmail.com)  
Сайт: [aquilopress.com](http://aquilopress.com)

Отпечатано в типографии  
Onebook-ru ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»  
Москва, 109316, Волгоградский пр., дом 42, Технополис МОСКВА  
Тел. +7 (495) 545-37-10  
Электронная почта: [info@onebook.ru](mailto:info@onebook.ru)  
Сайт: [www.onebook.ru](http://www.onebook.ru)

На обложке:

ISBN 978-5-906578-68-6

